

Р2  
К65

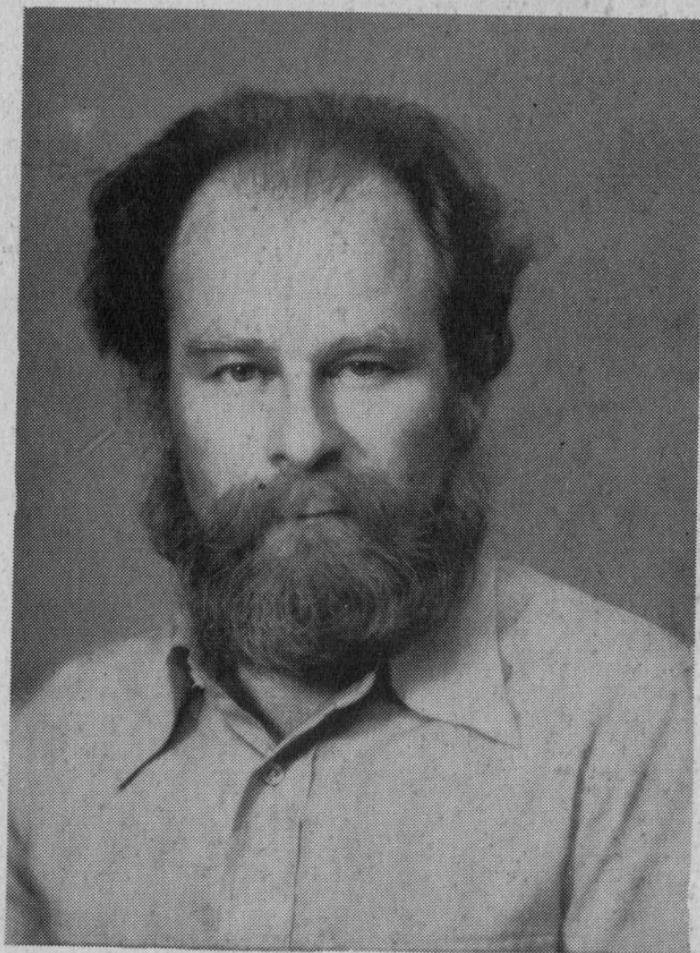
ЧГ

88

ВЛАДИМИР  
КОНЬКОВ

# Утренняя смена



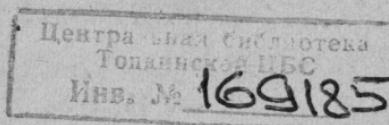


ВЛАДИМИР  
КОНЬКОВ

# УТРЕННЯЯ СМЕНА

Рассказы. Повесть

79



КЕМЕРОВО  
КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1979

P<sub>2</sub>

К64

Коньков В. А.

К64 Утренняя смена. Рассказы. Повесть. Предисловие  
А. Волошина. Кемеровское книжное издательство,  
1979.

152 с. 15 000 экз. 45 коп.

Первая книга молодого прозаика. В нее входит повесть о современном рабочем-шахтере, который все больше ощущает общественную значимость и своего труда, и каждого своего поступка. Острые моральные проблемы ставит автор в своих рассказах.

K 70302—8  
M145(03)—79 22—79

P<sub>2</sub>

© Кемеровское книжное издательство, 1979

---

---

## ПОИСК И СНОВА ПОИСК

Путь к первой книге для молодого автора всегда необычайно труден. Сразу же приходится решать уравнения со многими неизвестными. Необходимо найти свою собственную точку зрения на факты, явления, на все, что называется жизнью, необходимо искать свои слова, а за словом точно угадывать интонацию, жест, глубинное движение характера, а за ним всего человека, в его счастливой или трагической неповторимости. Правда, нельзя думать, что дорога ко второй или третьей книгам будет куда легче, проторенее что ли, чаще случается как раз наоборот. Но в своей первой книге автор, кроме прочего, прежде всего открывает сам себя.

Все это с полным основанием можно отнести и к Вл. Конькову. Закончив литературный институт имени М. Горького, автор этой первой для него книги долгое время работает журналистом. Его статьи, репортажи, очерки печатаются в газетах, передаются по радио, а недавно рассказы и повесть появились на страницах альманаха «Огни Кузбасса».

Это первые, может быть, самые ответственные шаги по крутым тропам художнического исследования всегда неоглядной, всегда загадочно сложной жизни, со всеми ее надеждами, разочарованиями, взлетами, неоднозначностью. Открывая такую книгу, невольно испытываешь чувство предстоящих открытий, встреч. На страницах книги необязательно ведь должны происходить события героико-трагические, но всегда обязательно необыкновенное в обыкновенном, всегда за бытом должно угадываться бытие.

В этом отношении характерен рассказ «Рябина у крыльца». Внешне он ровен, без «пережимов» и ухищрений, но внутренне, подспудно

сложен, как сложны бывают человеческие взаимоотношения, человеческие судьбы, если пристально присмотреться к их сердцевине.

Пожилой вдовец пенсионер-шахтер Дмитрий Константинович, отец взрослых детей, сына и дочери, давно уже живущих самостоятельно, своими семьями, неожиданно для соседей, еще неожиданнее для сына с дочерью женится на одинокой сорокалетней Наталье, женится, презрев недобрую молву о женщине, несоответствие их возрастов. И не ошибся Дмитрий Константинович, он обрел свое позднее счастье, хотя никогда и ни от кого не скрывал, что несчастлив не был и в своем первом долголетнем браке. А с ним рядом обрело долгожданный покой и мятущееся сердце Натальи; женщина, может быть, впервые в жизни, почувствовала, что такое свой кров над головой, родной человек рядом, о котором можно заботиться не уставая, на которого можно без оглядки опереться во всем. Она стойчески, с завидным мужеством, высоким достоинством встречает гневные филиппики сына Дмитрия Константиновича Геннадия, его решительное и попросту оскорбительное неприятие отцовского брака, вообще весь этот «мезальянс».

К Геннадию с невольным удивлением начинаешь присматриваться: мещанин? да еще воинствующий? так откуда это в нем—от среды? Но среда рабочая, шахтерская. Приходится согласиться, что мещанство, это опаснейшее социальное явление, может быть и «благо приобретенным». А от мещанства до жестокости — рукой подать.

После нечаянной, как часто бывает, нежданной смерти Дмитрия Константиновича Геннадий, явившийся с этой вестью (отец скончался у него в гостях), буквально на том же кругу, почти насильно выдворяет Наталью из отчего дома, хотя все имущество в нотариальном порядке было завещано именно ей. Но что значит для этого взбесившегося эгоиста судьба женщины и в конце концов сама смерть отца, если у него подошла очередь на покупку автомобиля, а для этого продажа старого, но добротно обиженного дома разрешила все затруднения.

Чтобы ни говорилось многократно об авторской тенденциозности, даже такой неприкрытой, как в «Рябине у крыльца», читатель, видимо, примет ее с открытой душой. Читатель всегда на стороне добра.

Мне кажется, нет надобности обращать внимание читателя отдель-

но на каждый рассказ, на их достоинства и недостатки, читатель во всем этом сам разберется. Подробно же о «Рябине у крыльца» потому, что и остальные рассказы — «У «Доброго пути», «Айда, папа, айда», «А вот послушай, что скажу...», «Соседи», несмотря на несхожесть возникающих в них ситуаций, коллизий, — почти все в одинаковой степени обращены к раскрытию чистых, жизнеутверждающих сторон в поведении людей, к мотивированному отрицанию зла, к активной борьбе с ним. Мы верим в искренность старого шахтера, бывшего воина Шитикова, в счастье молодой матери-одиночки Тамары Смолиной, в то, как с помощью соседей нежданно-негаданно кончается сиротство, отчужденность одинокой Михайловны.

И то, что именно такие вот стороны человеческого бытия в первую очередь исследуются автором, дает нам право сказать, что он на правильном, плодотворном пути.

Особое место в книге занимает повесть «Утренняя смена»:

Шахтерский бригадир Анатолий Токарев умеет широко и влюбленно и трезво смотреть на жизнь со всеми ее часто неожиданными поворотами, он отчетливо осознает свое место в коллективе, в семье, может быть, он иногда бывает и рефлексивен, но все же основное в нем — прямота, бескомпромиссность, если дело касается человеческого достоинства. Его отношение к товарищам по комплексному механизированномуению забою, к жене Надежде, к художнице Ларисе со всей убедительностью свидетельствует, что из любого положения он может найти достойный выход. Да, выход найдет, но это не значит, что он начисто лишен сомнений и как бригадир и как друг, муж заботливой хлопотуньи Нади. Серьезным испытанием для него явилась встреча и последующая дружба с Ларисой. Он так вспоминает минуты расставания с нею. Она сказала:

«— Спасибо тебе, милый, за все!

И неожиданно я ясно осознаю истинный смысл этих слов. Утром же я их воспринял чуть ли не как насмешку, издевательство, как намек на мою трусость, нерешительность.

Глупо! Это же были слова прощения отвергнутой женщины, прощения за слезы, за одинокую ночь в чужой холодной спальне, за мою любовь к другой.

Еще, как я сейчас понимаю, это были слова прощения и слова

благодарности за то, что мы оба нашли в себе силы избежать мелкой и липкой лжи.

«Спасибо и тебе», — подумал я о Ларисе.

Наш вагончик качнуло на разминовке... И оттого ли, что, наконец, пришла ко мне необходимость действовать, я почувствовал, как привычная деловая сосредоточенность овладевает мною».

Слово — всегда инструмент для высекания четких граней в бесконечной череде фактов, явлений материального и духовного мира людей. Но для этого слово должно быть подобно алмазу.

У автора впереди нелегкие поиски собственных и точных средств выражения. Хочется твердо верить: поиски эти увенчиваются успехом. Рассказы и повесть Вл. Конькова, предлагаемые читателю в этом сборнике, — достаточное этому ручательство.

A. Волошин.

## РЯБИНА У КРЫЛЬЦА

Дмитрий Константинович все наказывал:

— Ты не вздумай без меня картошку копать. Знаю тебя, хлопотунью. Погода вон какая! Мелочь добирай. Морковку подергай. А за картошку не берись, слышишь, не берись. К субботе непременно возвернусь.

Так он наказывал уже от калитки. Наталья с вечера мыла полы, выскоблила голиком и плахи, проложенные от крыльца к заплоту.

— Гляди мне тут, — слегка толкнув Наталью в тугой бок, шутливо сострожился Дмитрий Константинович. — Гляди! — На нем было длинное против теперешней моды серое габардиновое пальто и серая же фетровая шляпа. В одной руке сетка с гостинцами, к внуку на день рождения собрался, в другой — толстая полированная сучковатая трость фабричной работы. По домашним делам когда управлялся, то всегда пользовался своей, самодельной. Без палки уж годов пятнадцать как не ходит, по травме из шахты вывели.

Но хоть и хром, отчего сильно горбится в спине, Дмитрий Константинович выглядит бодро, осанисто. И уж никак не дать ему шестидесяти пяти, особенно когда вот таким франтом вырядится.

— А ты и не спеши. Чего тебе торопиться, Константинич, — Наталья пристально оглядывает его, обирая с пальто чуть приметные не то ниточки, не то пушинки, — коли

будут принимать хорошо, ну и гости. Хозяйство-то не велико, управляюсь...

Ее круглое с вздернутым носиком лицо румяно. Она в фуфайке, в стоптанных полуботинках на босу ногу. Полные короткие икры красно обдало холодом от инея, выбелившего огородную зелень.

— Шла бы в избу, а то вот и ноги как в огне, еще и застудишься, — говорит Константиныч, легонько подталкивая ее.

— Да что мне становится, — улыбается Наталья, — я от мороза, как та рябина, только слаше!

— Да и то! — смеется Константиныч и, быстро нагнувшись (против него Наталья вовсе коротышка), целует ее.

Из-за калитки опять оборотился:

— К обеду в субботу жди.

Дмитрий Константинович оглянулся с моста, проулок их выходил к нему. Наталья стояла уже на крыльце на фоне сенок, желтеющих в утренней голубой светлости, и узорчато лежали на их тесовой крыше оранжевые гроздья рябины.

Маленьким прутиком посадил ее Дмитрий Константинович в год рождения сына. Она почему-то высоко в рост не пошла, раскинулась, расшеперилась, и ветки только что в дверь не лезут.

Оглянулся Константиныч, но махать не стал, как раз сосед Григорий Лешаков окликнул:

— В гости, Константиныч, в Междуречье? А что это ты без молодой-то, али Генке мачеха не по нутру?

— А что он мне за указ, Генка? — Дмитрий Константинович чуть замедлил шаг. — Хозяйство, сам знаешь, не бросишь.

— Это верно, — подтвердил Григорий. — Ее, холеру, скотину, тоже кормить надо. — Он явно был настроен на разговор, подошел совсем близко к забору. Но Дмитрий Константинович сделал вид, что не заметил этого, и прибавил шагу.

Сын Геннадий прислал письмо: дескать, внуку твоему, Дмитрию Оськину, исполняется десять лет, по сему ждет он деда в гости. Так и написал: деда. Вот и собрался Константиныч в Междуреченск, где живет Геннадий, он там горным мастером на шахте. Было это во вторник, по утру.

А в субботу Наталья к обеду наварила борща, испекла пирог с рыбой (в магазин палтус привезли, а Константиныч очень уж любил, когда она рыбный пирог пекла). Часа в три стала затапливать баню. Печь Константиныч недавно переклал сам, новый бачок вмазал. И часу не прошло, а баня уже готова была. Наталья и корму задала курам и поросенку пораньше, и в избе прибралась. Глянет на часы, а уж четыре, пять, шесть...

Часов до восьми она все подтапливала баню. Потом поняла, что не приедет он сегодня. Топила она баню и в воскресенье к вечеру. Только Дмитрий Константинович и в воскресенье не приехал. А утром в понедельник, часов в одиннадцать, заявился сын его, Геннадий Дмитриевич.

Наталья была в избе, когда услышала, как затявкала строго Жучка. Вышла на крыльце и не признала было гостя. Виделись они один-два раза. Она прикрикнула на Жучку, бросила в нее попавшей под руку палкой, та забилась под крыльце и все рычала.

— Эздравствуйте, — сказал Геннадий Дмитриевич, когда поднялся на крыльце. Зашли в дом. Наталья молчала. Гость тоже молчал, потом, все стоя у порога, объявил:

— Похоронили мы в субботу отца. В среду умер. Сердце. В субботу похоронили. — Он прошел и сел на табуретку. А Наталья с удивлением и непониманием смотрела на него. Руки только к груди подняла, стояла и глядела на сидящего за столом в светлом плаще мужчину. Молчали.

— Чисто у вас, — глядя на пол, сказал Геннадий Дмитриевич. Потом шляпу, что держал на коленях, положил на стол.

— Как же вы это так? — только и спросила Наталья

и все смотрела на Геннадия Дмитриевича. Ноздри его широкого, большого отцовского носа приметно шевелились. Единственно, что и произнесла. Не поднимая голову, гость с нескрываемой досадой произнес в ответ:

— Да вы сядьте, чего уж теперь... — и, забрав со стола шляпу, стал вертеть ее в руках, стряхивая невидимые пылинки...

— Разделись бы, Геннадий Дмитриевич, — тихо пригласила Наталья. — А я тут сейчас. — Она медленно пошла из комнаты, осторожно притворила дверь.

Геннадий Дмитриевич перестал теребить шляпу и стал оглядываться вокруг. С тех пор, как он был здесь последний раз, полгода назад, ничего не изменилось. Все было по-прежнему. Шкаф на стене между печкой и кухонным, отцовской работы, столом. Рукомойник около узкой отгородки возле двери.

Новое — только занавески на окнах да в горнице, раньше их не было. Геннадий Дмитриевич привстал, протянул руку, в тесноте тут и подниматься с табуретки не стоило, и чуть приподнял занавеску. И в горнице ничего не изменилось как будто. Прямо против двери, над комодом, на котором стоял телевизор, висел портрет молодых отца и матери. И все-таки что-то было в горнице от нее, этой чужой ненавистной женщины, с которой он приехал рассчитаться раз и навсегда. И за свой позор, что пришлось пережить в последний приезд, и за смерть отца, ибо был уверен Геннадий Дмитриевич, если бы не Наталья (он и имени-то ее не мог произносить без злобы), то жить бы да жить старику.

А позор вышел на всю Родниковую. На Родниковой тайн не бывает. У кого, что ни случись, все равно, как ветром по логам разнесет, от старого террикона до Коровьего лога все узнают. Вот и в тот раз. Еще и до дому не дошел Геннадий, а про новость уже наслышался.

Он приехал с женой и Димкой попроведать старика да еще попытаться уговорить его все-таки продать избу и пе-

реехать в Междуречье. А тут, видите: понавез дед ящиков из-под консервов, поразбивал их и принял старую избу обшивать. Одна стенка у него уже готова была, а сенцы и вовсе новым тесом перебрал.

— Ты чего это, тятя? — поинтересовался Геннадий после того, как они поздоровались и закурили на крыльце. — Тут мне про тебя прямо анекдоты рассказывают! Я тебя все к себе жду. Пора и избу уж продавать, очередь на машину подходит! И вообще старик, один! Я сестре Юльке написал, а у тебя, говорят, медовый месяц? Это как же понимать, тятя?

— Так и понимать, что не твоего это ума дело, сынок. Приехали, ну и, пожалуйста, гостями в дом...

— Да она же нашей Юльки моложе, папаша, — поддержала Геннадия сноха. — Прошлым летом, помните, как ее Поздничиха гоняла по всем трем Родниковым улицам? Да если бы одна Поздничиха... Честное слово, вы меня простите, но это уже ни в какие ворота... Люди аж у магазина встречают: «Свихнулся ваш дед, Наташку в дом взял!»

При этих словах и увидел впервые Геннадий Наталью на пороге отцовского дома. Двери растворились, и женщина встала, как в рамке. Невысокая, красивая. Она слышала, все слышала, это было видно по лицу, по круглым щекам которого сочилась алость сдерживаемого гнева. Сказала же тихо без улыбки и с достоинством:

— Эвал бы, Константиныч, гостей в дом. Чего на ветру-то держать. — И пошла сама, не закрыв дверь.

Старик дверь притворил и строго сказал:

— Наталья мне по закону жена. Расписались. В мачехи вам не навязываю. Но обижать не допущу...

Настырность отцовскую Геннадий еще с детства знал. Помнил даже, как они с матерью ему на шахту «тормозки» (то есть еду) носили. Однажды отец почти двое суток не поднимался из забоя, чинил мотор. Слесари не могли, видно, ничего поделать, вот он и взялся им доказать.

Мать тогда всю ночь проплакала, глаз не сомкнула. Чуть свет его, Генку, за руку и через гору по лесу, так быстрее, на шахту. И всю дорогу почти бегом, да все в слезах, глядя на нее, и Генка ревел. А на шахте успокоили: «Живой ваш Оськин. Только сказал: пока не запустит мотор, на-гора не выйдет». На своем и настоял, «тормозки» ему со сменой передавали. И дома все по-отцовски всегда было. Но ругани никакой. Может, мать с ним ладить умела, а может, и сам он. В доме всегда тихо было, скучновато, но тихо и, наверное, между ними даже дружно. Они все вместе делали. И даже по ягоду, Геннадий и то помнит, по землянику ходили вместе...

А теперь смотрит он на портрет над комодом. Прямо на него глядят отец и мать. И тут неожиданно подумалось Геннадию Дмитриевичу, что ведь, в сущности, ни того, ни другого он как следует и не знал.

В тот приезд, уже сидя за столом, а Наталья оказалась мастерицей готовить, он не утерпел и опять завел разговор, только уже о матери. От обиды, что в их доме хозяйстует какая-то разбитная молодайка.

— Соседям-то не стыдно в глаза глядеть? Вы с матерью сколько? Почти сорок лет прожили, внуки вон какие, а ты, значит, в память о ней любовницу заводишь? Ей, погоди, над тобой, старым, потеха, помрет, думает, мне все и останется! Ты глухой, слепой, что ли? Значит, мать всю жизнь спину гнула со скотиной и огородом, нас растила, тебя обиживала, а теперь это в приданое прелестной твоей барышне? Она тебе еще покажет, вон какая! Ядреная!

И все это при ней, при Наталье. Зря не зря, а вот сказал. Рубанул кулаком по столу старик, все ж таки была в нем силенка, как рубанул, стаканы на пол, тарелки вверх дном. Ноздри раздулись, глазища выпучил:

— Ты, — говорит, — подлец, за чьим столом сидишь?

А Наталья встала, подошла, руку ему на плечо положила и тихо, все она тихо, говорит:

— Не шуми, Константиныч, не шуми. Это же не Геннадий Дмитриевич говорит, это же все водка. А ты не шуми, вредно тебе, знаешь, так и сердце недолго надорвать... Да вайте-ка по-хорошему поговорим.

Так и утихомирила старика, а то бы драка неминуема. На утро Геннадий Дмитриевич со всей семьей уехал молча. С тех пор и не бывал. А вот и пришлось. В остатний раз, только уж теперь и без матери, и без отца.

Сидит он один в избе. Вот вернулась и Наталья. Глаза красные. Плакала. Однако голос ровный, без дрожи:

— Чего же вы не разденетесь, Геннадий Дмитриевич? Да в горницу проходите.

Она на своем настояла. Геннадию в горнице не сиделось. Раздвинул занавески в кухню, где Наталья хлопотала около печи.

— Выйду, покурю,— сказал он. Потому что все никак не мог подступиться к разговору, ради которого приехал. Эта Натальина вежливость, какое-то ее смирение все сбивали его с толку.

— Чего уж,— остановила она его.— Отец всегда в избе дымил. Вон и запас его,— она указала на печной приступок.— «Приму» все я брала никак не меньше двадцати пачек зараз. Мама ваша покойница, отец говорил, так же покупала.

Геннадию Дмитриевичу вспомнилось, что действительно у отца всегда на этом печном приступке лежали сигареты. Вот только какие, он этого не замечал.

— Григорий Лешаков—сосед, знаете?—спрашивал: чего это, говорит, Генка прикатил без Дмитрия? Ну я и сказала ему,— Наталья от печи не обернулась и говорила вроде бы винясь.— В субботу обязательно возворочусь, сказал.— И не утерпела. Отвернулась к печке, подняла фартук и стала им утираять слезы, говоря:— Так что вы уж покурите в избе, Геннадий Дмитриевич, покурите...

Тут Григорий Лешаков со своей Клавдией вошли в избу.

— Вот так, значит, — вместо приветствия сказал Григорий, а Клавдия торопливо перекрестилась и добавила:

— Царство тебе небесное, Митрий Константиныч...

Наталья уткнулась в фартук. Сквозь слезы проговорила:

— Проходите в горницу.

Пришли еще соседи: Петр Табаков с женой. И изба уже полная. Геннадий Дмитриевич рассказывал, как приехал отец, как с Димкой они в шашки играли, как по городу гуляли, на скульптуру оленя ходили смотреть, потом на реку, даже в ресторан «Бельсу» заходили пиво пить. Старики бодро выглядели.

— Бодро, бодро! — подтвердил Лешаков. — Силенок в нем еще было. Нынче мне на покосе помогал. А говорил, помню, когда лежал прошлой зимой в больнице, что у него картиграмма обнаружилась плохая. Сердце, как вроде, надорвано.

— Да вить, вот же мы с ним собирались печь у меня перебрать, — вставил Петр. — Вот дед, а! — удивился он, как будто сосед его невесть что отчебучил.

Про то, что Наталью не известили о том, никто не заговаривал. А она на стол стала собирать, выставляла посуду, вилки, хлеб. Разлили в рюмки.

— Вот к баньке купила, — виновато сказала Наталья и провела рукой по косам, — и платка-то черного нету. Говорил: в субботу возворочусь, непременно. А вышло за упокой, Дмитрий Константинович. — Она посмотрела на фотографию над телевизором, и все поглядели. Молодо и строго из рамки глядели Оськины.

— Анна-то его, — сказала Клавдия, — тоже легко, от сердца же померла...

— Максим Завялов не знает, — сказал Лешаков. — Они же еще по гражданской знакомы, в Кузнецке в ЧОНе вместе были. Митрий все рассказывал, как они банду в Кузедееве кончали. Бывало, подопьет как, об чем бы ни говори, а он на свое, на одно поворотит...

Поминал, поминал покойный молодые годы. В Тополинск на шахту Оськин приехал из Кузнецка, демобилизованный по ранению. Приехал с женой Анной. Она в Кузнецке в няньях жила. Случалось, и в Нардом с ребенком прибегала. Дмитрий в буденовке ходил, портупея через плечо. Просыпался, в Тополинске рудник открывается, дело новое, интересное. Он всегда решал один раз, и точка. Поцеловал Дмитрий Анну впервые однажды по вечерней темноте за церковью, когда они возвращались из Нардома.

— Я на шахты еду. Поедешь со мной? — спросил он девчонку.

— Поеду, — тоже решительная была. Надоело чужие пеленки стирать. На том и порешили. И оказалась она говоруньей неумолчной, доброй хозяйкой, женой внимательной, чтобы ласковой шибко — не скажешь, но всегда уважительной, всегда помощница, всегда рядом. Может быть, и хранила что свое, но таила, а может, и сразу привыкла к тому, что мужнино слово первое. Только в доме было заведено так: как скажет отец, тому и быть. Раз только у них крупная размолвка вышла. Незадолго до того, как ей помереть.

...Геннадий Дмитриевич приехал и объявил, что решил он от Галки своей уйти. Они там, в Междуречье, и жили. Дмитрий Константинович круто с сыном поговорил. Дескать, сводить вас никто не сводил, а вот теперь, когда двух детей нарожали, оказывается, и не подходите друг другу.

Мать вступилась за Геннадия. Тут они и повздорили.

— Не любит она его, понимаешь? — внушала мужу Анна, когда они вечером сидели на крылечке. Летние вечера всегда так проводили. Дотемна до самого, после дел всех, сядут на верхнюю ступеньку и сидят. Дмитрий Константинович курит, Анна разговоры ведет:

— Жалко мне его. Чем с нелюбовью маяться, так уж лучше и совсем одному.

— Это что же за штука такая, любовь, по-твоему? —

спросил Дмитрий Константинович.— Распустились вот, и все тут. «Маётся...» А дети при чем? Вот ты с утра до вечера топчешься по хозяйству, и про любовь думать некогда. А может, тоже маёшься?

— А чего про нее думать, про любовь? На ней душа человеческая и держится,— сказала Анна. Сказала как-то жалостливо. Не на судьбу в оглядке, а вроде как неудержанный вздох, что стеснение в груди облегчает, вырвалася.— Голова да сердце бывает не в ладу живут. В церкву я тут ходила, ты уж не серчай,— продолжала Анна.— С Никитовной ходили. Поплакали, об Геночке бога просила. Может, и пособит. Ладу бы в его жизни надо. Ладу бы...

Видать, дошли материны молитвы до бога. Геннадий Дмитриевич по-прежнему живет со своей Галиной. Мать уже давно похоронили и отца вот в чужом городе зарыли в землю.

Лешаков все-таки спросил:

— А что, Гена, отца-то бы сюда привезть. С матерью бы рядом положить.— И все на Наталью посмотрели. А она — на всех и опустила голову виновато. А Геннадий Дмитриевич сказал:

— Юлька-сестра не захотела. Мы ее телеграммой вызвали. В Тополинске, говорит, никого наших не осталось. А у нас хоть будет к кому на могилку сходить...

Замолчали за столом. Клавдия Лешакова поднялась. Встал и Григорий, за ним и другие соседи. Клавдия вдруг обняла Наталью, и заплакали они навзрыд, громко, как только бабы и умеют плакать. Остальные все вышли из избы. На крыльце Григорий поинтересовался:

— Дом-то неужто этой вертихвостке?

— Это еще с каких калачей? — удивился Геннадий Дмитриевич.— Она, можно сказать, его в гроб вогнала. Да лучше спалить. Я вот и приехал по этому делу.

— И то правильно,— Григорий понимающе покачал головой.— Ей что, дело молодое, завтра хахаля приведет. Мало их у нее тут?!

— И как старик такое учудил? — то ли удивился, то ли спросил Геннадий Дмитриевич.

— А это у них с прошлой зимы началось. Он тогда в больнице, помнишь, лежал долго.— Григорий полез в карман за папиросой.— А она тут приглядывала по хозяйству.

...Было так. Весь январь Дмитрий Константинович прошёл в больнице. Перед тем как лечь, упросил он соседскую квартирантку Наталью, молодую, лет сорока, шуструютолстушку, похозяйничать без него. Работала она уборщицей в местном магазине. Говорят, была замужем. А по нынешним временам жила эта рыжая с косой вокруг головы, на лице симпатичная бабенка в свое удовольствие. Рассказывали, что и выпить не пропустит, и мужиков уж на всех трех Родниковых перебаламутила.

В обиходе же была она проста и обходительна, за что старики, хозяева ее, очень уважали. Они-то и надоумили Дмитрия Константиновича попросить ее доглядеть по дому.

Несколько раз с передачей в больницу приходила, домашней еды приносила. Хозяйство она вела исправно. Блюда в избе чистоту.

Во всем этом убедился Дмитрий Константинович, когда из больницы выписался. Наталья в тот вечер и ужин спотовила. Нажарила картошки, достала огурцов из подпола. От денег за работу отказалась. Мол, самому пригодятся, а за бутылкой, за красненьkim, сходила. Константиныч полстакана и выпил. Он уж давно себя удерживать стал. А Наталья весело предупредила:

— Ты мне, Константиныч, уж цельный наливай. И так жизнь половинчатая!

Была она в коричневом безрукавном платье, с лица светлая, румяная, головка аккуратная, все будто клонится на длинной шее...

— И то правда, Наталья, — сказал Дмитрий Константинович, — ты все в балахоне этом своем на модах, а поглядеть — баба ты ягодка...

Центральная библиотека  
Томской ЦБС  
Инв. № 17169185

— Только рыжая! — весело рассмеялась та, поднимая стакан.

— Ну и что, что рыжая. Зато сердечная и вон какая справная, а жизни, верно, нету...

— Не скажи, Константиныч, не скажи. От мужиков, что ли не знаешь, не пройтить. Да взять и соседа твоего, Петьку,— смеется Наталья.— За твое выздоровление и с возвращением! — Медленно она выпила стакан, степенно на стол поставила. Взяла вилку, наколола на нее кусочек огурца.

— Веселая ты,— Константиныч с удовольствием ел картошку.— Заскучал по домашнему вареву. От научной диеты кишки чуть не слиплись.— И неожиданно, без перехода, видимо, много думал об этом, сказал: — Генка в последний раз писал. Хватит, говорит, людей смешить и нас позорить. Приеду и заберу. Целую комнату обещает отдать. У него палаты большие и этаж низкий — второй... Избу продадим, деньги, говорит, на твою книжку положим, нам они без надобности. Рассудил все как есть...

Дмитрий Константинович снова налил в стаканы.

— И верно, Константиныч, чего тебе бобыльничать? Был бы сирота. А то ведь и внуки есть,— заметила Наталья.— Хоть ты и с виду, конечно, еще справный, но одному-то сладко ли? Как вот она завоет, заметет, а?

Константиныч ладонью пригладил волосы. Они у него белые-белые, но густые, так торчком и торчат, как и в детстве.

— Оно, соседушка, не нами придумано-отмеряно. У всякого своя радость. Генке тому машину надо. Юлька с зятем в заграницу собираются. А у тебя опять радость — Петькиной Вальке досадить. Она бабенка, верно, злая, но уж ты бы ее пожалела, ведь трое же у них...

— Да на кой ляд он мне, ваш Петька, сдался, горе мое,— у Натальи от гнева даже слезы выступили и по округлости щек румянец пошел.— Да я его же дальше порога и не пускала никогда, а вот за то, что она на всю улицу

меня позорит, этого я ей не спущу, повоет она у меня. Коли я одна и слова некому сказать, так значит и вали все, что ни попало? Да я, может, чище их — замужних. Был у меня такой свой Петька, в один миг рассчитала... Ох, и липучие вы, собачье племя, мужики! — рассмеялась Наталья, и гнева как не бывало.—Хирург ваш-то вовсе херувимчик. Образованный, при жене и туда же... Может, во мне и впрямь сладость особая?

Наталья распалилась, смеется весело, голос напевный и вдруг умолкла. Склонила голову, долго смотрела на скатерку и, точно разглядев что-то, провела по ней ладошкой, будто вытирая, а потом рукой как все равно паутину отвела с лица, улыбнулась себе, откинула назад свою рыжекосую голову и Константинычу с улыбкой:

— В голове шумит. Давай песни петь, а? — и тихонько завела: «Что стоишь качаясь, горькая рябина...»

Подпевал и Дмитрий Константинович, с молоду он был не мастак на песни, поэтому шибко не выпячивался, так басил потихоньку, что называется, за компанию.

Затягивала Жучка, потом приветливо завизжала, кто-то громко потолкался на крыльце, и вот позади белого клуба, закрутившегося в открытых дверях, оказался широкоплечий мужчина в фуфайке и без шапки.

— С возвращением, Константиныч, — обрадованно зашумел он. — Я своей говорю: у деда следы вроде как мужские во дворе видать, не иначе оклемался наш сосед, нё помер еще, — визгливо хохотнул мужчина, прошел и сел прямо к столу. — Она и говорит: а может, это твоя сучка кобеля привела. Это, Наташка, про тебя, значит, — он опять весело взвизгнул.—Ох и стервы же вы друг на дружку, бабы...

— Ты тоже хорош гусь, — Наталья сказала без обиды, — я вот ей, твоей дорогой, еще косы-то расчешу... Ладно, скидавай свою фуфайку, садись к столу. — Она встала. Около печки, в простенке, висел посудный шкафчик, Наталья достала стакан, вилку. Поставила все это перед гостем.

— Ну, спасиочки! — развеселился совсем Петр. — Спасиочки! Ну, наливай.

Жучка вновь гавкнула, потом завизжала, и на этот раз вместе с белесыми всполохами морозного воздуха в избу вскочила маленькая женская фигурка.

— Сбежались, голубчики? — не поздоровавшись, спросила она.

— Здравствуй, соседка! — поднялся из-за стола Константиныч. Высокий, худощавый, он вовсе подпирал потолок. — Проходи, гостьей будешь, — и захромал навстречу. Избы-то всей было шага три...

— Нет уж, спасиочка, гостите сами. А ты, кобель, до мой не показывайся! — последние слова она прокричала, уже открыв дверь. Потом хлопнула ею так, что даже закачалась лампа над столом. И долго еще по полу тянуло холодом, остыкая начавшееся было веселье.

— Ну, Петька... — только и посочувствовал хозяин.

— И мне пора, Константиныч, спасибо за хлеб-соль, — поднялась Наталья. Она стала собирать со стола.

— Оставь, чего уж, — Дмитрий Константинович тоже встал, — поди, не без рук, — и он, припадая на правую ногу, захромал вокруг стола. — И так тебе спасибо, в избе-то хоть живым пахнет.

— Да сядь ты, сядь! — Наталья взяла его за плечи и усадила на свое место. Руки ее всего и момент один прикоснулись, а Дмитрий Константинович сквозь рубаху почувял их непривычное тепло и ласковую мягкость. Все это и происходило-то незаметную минутку, но обдало Константиныча жаром внутри. А Наталья уже поставила на стол большую чашку, из чайника плеснула кипятку, почерпнула ковшиком из бачка холодной воды, вылила опять в чашку и принялась мыть посуду. Все у нее выходило складно, быстро, а она еще и приговаривала:

— Не надсадилась, поди. По-соседски как не помочь. А ты, Константиныч, и правда, езжал бы к сыну. Он у тебя хороший, сноха ученая и обходительная. В магазине я при-

метила, обходительного человека всегда видно. «У нас,— она говорит,— папаша только индийский чай любит...» Да и то сказать: семья — она и есть семья...

Потом повернулась резко так, платье туго на высокой груди натянулось, засмеялась:

— Пошли, кавалер! — это она Петру. — Или женушку испугаешься?

— Чего это я пугаться буду? — бодрится тот, — правда, я без шапки.

— А тебе Константиныч даст. Найдется старенькая, Константиныч? — на лице ее улыбка. Говорит, а глаза с Петра не сводит. И словно разговор от них, от этих глаз идет, слова не те, что Наталья вслух произносит, а другие бесстыжие и ласковые. На Петра Константинычу и глядеть страшно стало. А Наталья уж в свою фуфайку облачилась. Тут Дмитрий Константинович чего-то спохватился.

— Погоди-ка, соседушка, сей секунд. — Он прохромал в горницу, там загремел ящик комода. Долго искать ему не пришлось. — Вот! — Вернувшись к гостям, показал он большой черный с красными цветами шерстяной платок. — Тебе, Наташа, возьми. Его Анна всего ничего и носила. Моим девкам без надобности, немодный, а чего ему лежать. Возьми, примерь-ка. Примерь. — Он с такой настойчивостью упрашивал, как будто боялся отказа. Наталья даже слова против не сказала. Движением привычным и быстрым она накинула платок на голову, туго обернув один конец вокруг шеи, и молча повернулась к Константинычу. Серьезно, чуть ли не строго глядела. Куда и игризость, и смешливость пропали. Случается такое. Неожиданно на минутку раскроется человек и окажет нежданно всю ясность и красоту свою.

— Ну и носи на здоровье, — сказал Константиныч. — А ты, Петр, и впрямь надень мой треух, завтра занесешь. — Он показал рукой на вешалку. — Не ровен час и уши отморозишь...

Стоит сосед Григорий с Геннадием на крыльце. Григорий оглянулся с опаской на дверь. Они остались вдвоем. Табаковы ушли, и доверительно вполголоса, почти шепотом заговорил:

— Это у них, Дмитрич, зимой и случилось.

Геннадию Дмитриевичу стало не по себе. Вспомнился ему последний приезд и разговор с отцом, припомнилось и то, что ни в какой командировке зимой он не был. Просто не знал об отцовской болезни. Переписываться они не привыкли, так, открытки к празднику жена посыпала, а тут чего-то у них самих дома не ладилось и, видно, забыли. Обидным и за себя, а больше всего за память о матери считал он стариковскую блажь... Они и строили вдвоем этот дом, прожили в нем всю жизнь — и на тебе! Он, Геннадий, зовет же отца к себе, комнату отдельную отдает, на худой конец квартиру разменять можно, на его четырехкомнатную охотников всегда найдется. И на что сдалась отцу эта бабенка? Эта вертлявая толстушка на целых два года моложе сестры Юльки.

...Дом Дмитрий Константинович построил тогда, когда рядом еще ни одного соседа не было. И будили его с Анной летом по утру птичьи голоса, а зимой метелицы... Они с женой сами выбирали это место, в ту пору километрах в пяти от города и шахты. Сюда по угору ходили, косили вокруг траву. И не пугало, что до шахты далековато, зато привольно. Ребятишки, как зверята, круглый год на выпасах. Пили воду из родников, обедались саранками, пучками, мешками колбу таскали. Генка с малолетства вместе с отцом на зайца да лисиц охотился. Кузнецкие родственники, приезжавшие летом, откушав Нишиной рябиновой настойки, громко и от души всегда хвалили стол и место жительства, но обязательно выговаривали за отдаленность.

Теперь этот дом самый старый на Родниковой улице. Их, к слову, уже целых три Родниковых-то. Дома по логам и вверх по горе огромные, кирпичные, многие с полуподвалами, с мезонинами. Шахтеры основательно ставят дома.

А дом Оськиных, что у самого подножия сейчас уже лысого перепаханного бугра, будто от бугра этого и цвет перенял, так его бревна потемнели, да и к земле пригнулся когда-то высокой крышей, и его два небольшие окна смотрят в улицу из-за потрескавшихся наличников.

Уж после того, как дочь Юлька вышла замуж и уехала, надумали вдруг Константиныч с Анной за земляникой сходить. Им пришлось идти через лог, застроенный домами, потом через вырубленную перепаханную рощу, спускаться к дальнему перелеску. До ягодников так и не дошли. Устали. Посидели около родника (он теперь как раз над дорогой оказался, что по косогору легла) и возвратились домой...

...А сейчас на крыльце старого дома Лешаков все дымил папиросой и все в подробности отцовской женитьбы Геннадия Дмитриевича посвящал:

— Ты же ее тоже, может, знаешь? Она уж лет как пять у нас проживает. Бабенка, видишь, складная, ну вертихвостка, одним словом. Видать, приметила себе на уме, что старик долго не протянет, и повадилась постирать да пристрать... Глядь, и вовсе перебралась в избу.

Ты, говорил я, соседушка, никак спятил? Оберет, как липку, да еще и самого выгонит, на кой она тебе ляд, когда ты уж и не мужик вовсе.

Это я его аккурат после сенокоса тем летом спрашивал. Он мне сено помогал косить. Ну, когда за столом-то сидим опосля, я и говорю:

— Неужто сила в тебе мужицкая такую-то бабу иметь? И знаешь, что он объявил? Все ж он, должно быть, уж и тогда маленько на голову слабел. Мы, говорит, вчера по ягоду с Наташой — это с ней значит,—показал через плечо на дверь Лешаков, — ходили. А верно, потому что пришел я его позвать, а во дворе одна Жучка. Еще подумал: и куда его унесло? То с утра все стучал топором. Видал, дом-то как обновил, вроде сто лет жить собирался. Вот и говорит: ходили мы по ягоду. А это, знаешь, теперь где? Аж во

втором перелеске. Может, помнишь? — спросил у Геннадия Лешаков. — Константиныч и говорит, прошли за пашни, а там опять бугры зеленые да березы и земляника-ягода. А сам смеется весело. Думаю: от бражки, может, охмелел, а он чудно и говорит. Я, говорит, вот последнее время все смерти боялся. Не того, что в землю, в пустоту, закопают. А пустота, оказывается, просто во мне внутри жила. Ну а теперь вот и не жалко помирать. Это, как, говорит, на по-косе. Понял? Из кринки напьешься досыта, аж по лицу потечет, и все пил бы и пил.

А Геннадий Дмитриевич думал о том, что совсем об отце, о его жизни не знал он ничего. Не знал и не узнает никогда о том, как сошелся старик с этой молодайкой. Да, собственно, зачем ему все это, удивляется Геннадий Дмитриевич: отчего бы соседу Григорию помнить? Будто знал, что пригодится ему все это.

— А вообще-то отец твой мужик был мировой, уважал его народ. Очень уважал... — продолжает Лешаков.

...После болезни повадился ходить к соседям Дмитрий Константинович, и однажды застал он у стариков Наталью, которая там квартировала, одну. Вошел, когда она пол мыла босиком, в коротком розовом старом платьице. Наталья не разогнулась, думала, кто из хозяев. Когда заметила, пружинно выпрямилась, тряпка в одной руке, другой лицо оттерла и платьишко стала одергивать. В шейный вырез сунула палец и кверху материю потянула, но ложбинку глубокую, розоватую, не прикрыла. Сильнее надулось на груди, на боках кругло натянулось платье. Засовестилась.

— Чего же ты, Константиныч, молчком?

В платье этом ну прямо девка молодая и краска в лице от растерянности.

— Проходи уж, проходи, подотру, — пригласила, когда Дмитрий Константинович за дверную ручку взялся. — Посиди со мной, поговори. Аль тоже боишься? — и засмеялась. — Не бойся! Давай-ка лучше сигаретку выкушим, пока моих нет. При них-то прячусь, бабка не любит. Она у

меня совсем обезручила, — сокрушилась Наталья, как о родной. — Вчера уж и парила ее, и жиром растирала, а сегодня куда-то за мазью уплелась; добрая она, все: доченька да доченька...

— Так-то и будешь по домам всю жизнь? — спросил Дмитрий Константинович. Он осторожно прошел от порога и присел на подставленную Натальей табуретку, которую та предварительно рукой отерла.

— А чего мне? — Наталья присела напротив Дмитрия Константиновича на сундук. — Птица вольная.

— Сорока вон тоже вольная птица.

— По мне лучше уж сорокой. Сосед твой все синичек ловит да по рублю за штуку продает, на бутылку всегда набирает, а сорок-то не ловят и не продают!

— А как же ты все ж без мужика в такой поре живешь, Наталья?

— Почто это так? Вон на любой Родниковой, у всякой собаки спроси, и та знает про моих мужиков.

— Я про другое, — Дмитрий Константинович сидел, опершись на палку. — На улице чего не наговорят. Слышал даже, будто ты Марье недостачу сделала.

— Почему это будто? Ей тащи сколько влезет, обсчитывай, а другим нельзя? — обозлилась. — У меня все на глазах.

— Да брось ты на себя наговаривать. И чего собираешь...

— Я так ей и сказала: выведу я тебя на чистую воду. Сама сяду, а тебя выведу. Она Куркину девчонку на двадцать копеек обмишурila и глазом не повела. Девчонку дома выпороли, а она, стерва, в золоте ходит. А правды боится.

— Из-за чего ж ты все такая колючая, а? — все любопытствовал Дмитрий Константинович, — и с бабами со всеми переругалась, и уж горда очень. Поди, и мужик-то из-за этого бросил?

— Ты бы лучше, Константиныч, про сороку расска-

зал, — Наталья вдруг рассердилась. — Ну, чего пристал? Я тебе подследственная? Допрос снимаешь? Живу, как хочу. — И тихо добавила: — Жизнь как выйдет, так уж и не отвернёшь. Свортков, может, и много, а где он твой, попробуй угадай.

— Я что пришел, — вдруг сказал Дмитрий Константинович, — зашла бы когда поубрать в избе, постирать, заплатил бы. Сам, что ни говори, не то дело.

— И мужик, Константиныч, ты кажешься самостоятельным, а совсем, как Петро, чушь несешь. На кой ляд мне твоя плата? — Открыла печку, бросила в нее недокуренную сигарету. — Приду как-нибудь. Подсоблю. — И поинтересовалась: — Сын-то пишет? Занятой он больно у тебя, ох уж и занятой...

После того разговора, когда Дмитрий Константинович пригласил Наталью помочь по делу, она только через неделю собралась. Дмитрий Константинович, видимо, не ждал. Растроился, стал извиняться, отговариваться, дескать, и сам он со всем управляется, пошутил тогда, много ли старику надо. Однако Наталья послала его топить баню, воды греть для стирки, а сама в это время принялась за уборку.

Часа через три уже белье вывесила. Веревку натягивали они вместе, сама же за прищепками к Лешаковым сходила — у Дмитрия Константиновича растроились все. Ужин тоже Наталья готовила — долго ли картошку нажарить, а уходя, наказала, чтобы купил прищепки, чего это по людям ходить.

И в другой раз пришла. И опять они ужинали вдвоем. Дмитрий Константинович вспоминал свою жизнь, как с покойницей дом ставили. На шахте все говорили: и чего в глухомань залазить, а он на своем настоял. Гляди теперь — глухомань. Посчитай, все его бригадники, с которыми работал, сейчас на Родниковых живут. Воздух — приволье, и до города три остановки по асфальту.

Так и стала она заходить к нему. Вечером одним Дмитрий Константинович спохватился:

— Что-то я, Наталья, тебе табачку-то не предлагаю, ты уж не стесняйся, закурирай. — Это когда он закурил, а она убирала со стола. — А то, вроде, ты меня, как своей бабки, стесняешься.

Наталья засмеялась:

— Да я вовсе и не курю, Константиныч, это так, с горя да со злости. — И радостно добавила: — А Марью утихомирила я все ж. Ребятишек не обсчитывает теперь. Ну, баб да пьяных — черт с ней, а вот ребятишек — угомонилась. — Она засмеялась. Засмеялся и Дмитрий Константинович. Весело ему бывало в те дни, когда в доме объявлялась Наталья. Шума много становилось в его тихой избе, и потом, когда ночью вставал он курить (давно уж у него эта привычка появилась), все еще в шорохах ему слышалось это веселое эхо.

...Геннадий Дмитриевич воротился в избу, когда Григорий ушел. Наталья сидела за столом в горнице, на ней был черный с красными розами платок.

Материн — узнал Геннадий Дмитриевич, и неприязнь к этой толстозадой молодухе с большей силой вскипела в нем.

— Я ведь всего на несколько часов, — никак не называя ее, заговорил он. — Автобус у меня в пять. А еще тут дел разных. — Он сел. — Надо бы бумаги поглядеть, думаю, вы понимаете. Дело в том, чтобы еще успеть к нотариусу...

Наталья подняла голову, посмотрела в глаза Геннадию Дмитриевичу, и, как она ни была ему неприятна, не сумел он не отметить, хоть и с ненавистью, красоту ее лица. От этого он еще больше ожесточился. Припомнился последний разговор с отцом, в Междуреченске уже.

— Ты все: старик, старик, — выговаривал Дмитрий Константинович, когда они с сыном вышли на балкон. В доме Оськина-младшего курить было не принято. — Действительно, годы не паспорт, их не потеряешь. И хочу я, что-

бы ты знал, что вроде как бедою мы сошлись. Ей, беде, что старый, что молодой. Было их две беды, две разные, а теперь счастьем одним обернулись. Поначалу даже боязно было. Думал, не от корысти ли от какой пошла? А душу-то разглядел когда, а она у нее, как у малой дитяти, незамутненная, незапятнанная паскудством и срамотою. Мне теперь и помирать ровно не боязно. Не один я. В памяти ее буду жить. Любим мы, сынок, друг друга. Может, и осудишь, тебя я тоже понимаю. Мать-покойница твоя хорошая женщина была. И врать не стану, без обмана и без упреков мы с ней век прожили. А вот волнения, — стариk кулаком по груди постучал, — никогда не было. «Покойно мне с тобой», — все она говорила. Думал я: так и должно быть...

— Как же так, Геннадий Дмитриевич, — не утерпела больше Наталья, вырвалась боль и в горе слезами брызнула. — Ведь не чужая я ему-то была. — Сказала и испуганно ладошкой рот прикрыла. Однако собралась с мыслями. — Как же такое смогли вы? — И протянула руку за папиросой, Геннадий Дмитриевич пачку на стол положил.

Геннадий Дмитриевич поглядел на Наталью сдержанно, потому что раздражение в нем уже злостью кипятилось.

— Сами понимаете, что стариk уж, можно сказать, был не в себе, поэтому суд полностью будет на нашей стороне. Мало ли у него было сожительниц.

Наталья подняла голову. Наверное, в молодости Константиныч был такой же. Суровый, резкий. Сын очень на отца похож.

— Что вы, Геннадий Дмитриевич, какие у него сожительницы! Да он же такой человек, он, знаете, какой человек? — Горе в воспоминании, видно, чуть загородилось, вот и вышло облегчение улыбкой, быстрой, но неуместной, оттого виноватой, и сразу же она пропала. — Самостоятельный человек, серьезный, — повторяет Наталья, — и не сожительница я ему, — заявила она, — а жена. — И твердо

так повторила, — жена была... — и укрыла лицо черным платком с красными розами.

И могла бы вспомнить, если бы была в силах, как в самом начале апреля сломала она, Наталья, ногу. Разгружали ящики в магазине, она подскользнулась и упала, а ящик и придавил. Благо, больница рядом...

Дмитрий Константинович пришел на третий день к ней в палату. Вставать она не могла, нога привешена была к железяке — вытягивали кость. И она впервые заметила, какой он высокий, стройный и красивый. Она так и сказала ему, когда первая минута неловкости прошла:

— Ты, Константиныч, как доктор прямо. Солидный, красивый. Только что не щупаешь. — Все в палате засмеялись, а Дмитрий Константинович смущился. И от смущения его, и оттого, что не знал, куда банку с вареньем поставить, вовсе развеселилась Наталья и болтала без умолку, а вся палата так хохотала, что заглянула даже дежурная сестра и предупредила:

— Кончайте концерт, не в клубе находитесь.

До конца месяца Наталья пролежала в больнице. Перед самой ее выпиской Дмитрий Константинович, а он носил передачи через день, наклонившись к подушке, чтобы никто не услышал, прошептал:

— Наташа, чего тебе у старииков делать, шла бы ко мне жить? Не все ли тебе где?

Наталья ему перед этим только сетовала, что неудобно ей перед бабкой будет, все же человек она чужой, а по дому делать ничего не сможет еще. Нога-то в гипсе. Но такой оборот дела прямо огородил ее.

— Как же мне тебя понимать, Константиныч? — со слезами в голосе спросила она. — Я к тебе, как к родне, можно сказать, а ты вон как поворачиваешь. Что же ты, в полюбовницы надумал взять? — Тут уж совсем разозлилась. — А вдруг не справишься?

— Да как у тебя язык поворачивается, Наталья? — зашипел Константиныч. — Видать, полюбил я тебя.

— Да за что? — Наталья только рукой махнула: дескать, уйди. Весь день и проплакала.

Дмитрий Константинович пришел за Натальей в больницу. Отвел ее к старикам, а назавтра пришел, сели за стол, и объявил, что просит он Наталью Никитичну выйти за него замуж. Когда он осторожно, нога-то не гнется, вел ее по улице к дому, все соседи высипали. И стыдно, и горько, и радостно было Наталье. Она поднялась быстро, хозяйкой оказалась умелой, а с работы Дмитрий Константинович ее рассчитал. Зашел к ним однажды Петро, посидел, покурил, что-то про жизнь молодую спросил, но выставила его Наталья, Дмитрий Константинович и слова сказать не успел.

Соседи судили, рядили, ее осуждали, его жалели, словом, по-соседски перемывали им косточки. А Наталья, не обращая на все это внимания, лаской да шуткой обходилась со всеми. Она и сама не умела объяснить, отчего согласилась перейти жить к Дмитрию Константиновичу, что-то толкнуло ее к нему, каким-то незнакомым праздником поманил и не обманул, не разочаровал, а понес поперек молвы и хулы вместе с ней обиды и горечи, и забылись они в его сдержанной ласке, в его удивлении ею...

Ах, как она не соглашалась, уговаривала, но Дмитрий Константинович все-таки настоял на своем, и они сходили в ЗАГС, купили кольца, созвали соседей.

И пили соседи вино, и кричали «горько», а они улыбались. Она любила слушать его тихие слова, уложив голову на его плечо, когда они весенними вечерами после дневной работы сидели на крыльце. Днем они обшивали заново дом.

— Будет он у нас с тобой, как игрушка, — говорил Дмитрий Константинович.

А еще он придумал сходить за рябиной. Объявил вечером. На крыльце сидели. Руку протянул к старому дереву. Чему-то засмеялся. Потом объявил:

— Надо бы и другое посадить — рябинку, а? Завтра и сходим. Вроде выходного у нас выйдет. — Они долго шли через лог, поднимались в гору, опускались опять в лог, по-

ка пришли в перелесок, где чуть ли не до самых белых весенних облаков тянулись к небу красноствольные деревья.

Дмитрий Константинович облюбовал прутик росточком чуть повыше его, аккуратно, не повредить бы корни, выкопал, и обратную дорогу они несли его по очереди. Отдыхали, напившись воды из родника над дорогой, который так и бежит с незапамятных времен.

Геннадий Дмитриевич приехал с семьёй на другой день после того, как они посадили деревце. Тогда-то в первый раз у них и вышел крупный разговор с отцом.

— Мне, Геннадий Дмитриевич, ничего не надо. Вы и не думайте, я и сегодня уйду, — говорит Наталья, утирая концом платка глаза. — Вот, если разрешите, платок возьму, память о нем... если разрешите. А вы его не знаете. Половиницы. Он строгости душевной был.

— Надо дарственную написать вам, — решился, наконец, объявить Наталье Геннадий Дмитриевич то, ради чего, собственно, он и приехал. — Отец завещание на вас оставил. — Ему совсем уж надоела эта бабенка, и время торопило.

— Какое завещание? Да я и не умею, — Наталья непонимающе смотрела на него, — сказала же я вам. Делайте что надо. Я хоть сегодня уйду.

— Я заготовил, — Геннадий Дмитриевич положил на стол бумагу, — только надо вам к нотариусу сходить.

— Схожу, конечно, только бы не сегодня... — умоляюще поглядела на него Наталья. — Я совсем что-то не могу, — она было улыбнулась, но губы только искривились, глаза сузились, и все лицо некрасиво изломалось.

— Конечно, конечно, — Геннадию Дмитриевичу это явно было не по душе, но настаивать он не решился. — Вот и все, и мне, правду сказать, пора.

Наталья вышла вслед за ним на крыльцо. Геннадий Дмитриевич шел быстро, твердо, и хоть не хромал, а было в его стати что-то от отца.

В конце зимы Геннадий Дмитриевич купил машину.

Деньги от продажи дома они поделили с сестрой, и две тысячи, пришёдшиеся на его долю, оказались к месту. Выехал он первый раз, когда совсем уже все высохло. Прокатил свое семейство по городу, потом через Усу в Ольжерас, доехали до Распадской. Домой вернулись веселые и счастливые. Он долго оставался в гараже, а когда поздно вечером ужинали, жена ему сказала:

— Знаешь, ведь завтра родительский день?

— С чего ты об этом? — удивился Геннадий Дмитриевич. Религиозные праздники у них в доме не отмечались.

— Михайловна, соседка, заходила, сказала. Надо бы к отцу съездить. Ни разу ведь не были.

Отцовскую могилу нашли не сразу. Прибавилось около нее, затеснили. Подошли к оградке. Помешкали, прежде чем открыть калитку. Вошли. Геннадий Дмитриевич глядел на потускневший отцовский портрет, и тот, чьи черты хранила эмалированная пластинка, виделся совсем чужим.

— Когда ты посадил? — жена указала пальцем на тонкий безлистный прутик, торчавший справа у входа, у самой калитки.

— Я? — удивился Геннадий Дмитриевич. Он даже не заметил серую веточку. — Я? Нет, это не я. Это, наверно, она, Наталья, — Геннадий Дмитриевич впервые назвал имя женщины, и оно теперь неразрывно стало с именем отца, хотелось бы того сыну или нет.

У Геннадия Дмитриевича задрожало внутри. Так случается от неожиданного оклика на дороге. Идешь и вдруг слышишь — позвали. Оглянешься и увидишь очень дорогое, только совсем покинутого тобою человека.

И поднялась обидой в душе Геннадия Дмитриевича досадная признательность к чужой женщине. Но больше всего язвило от сознания своей непоправимой вины перед отцом и еще от стыдливой нежданной зависти к нему — покойному — за пережитую на земле такую женскую верность.

К горлу тоской поднялась жалость уже к себе. Геннадий Дмитриевич по-иному совсем всматривается в отцов-

ский портрет на железной пирамидке, и другой, не похожей на прежнюю, замерещилась ему его дальнейшая жизнь. А над могилой и над еще не разродившейся зеленью землей бился сизым трепетом день...

---

---

## ТОЛКУНОВЫ

Свадьбу будут играть в Покров. Закончат дела в поле, поселят озимые, и соберутся у Толкуновых гости.

Иван Толкунов пятидесяти лет, среднего роста, плотный, черноволосый с едва наметившейся сединой, стоит у ворот своего дома.

Тихо и студено светит сентябрьское утро. Толкунов провожает гостей. Младший сын Анатолий, студент, привозил невесту знакомить с родителями. Они вместе, уже последний год, учатся в Омске, в сельскохозяйственном институте.

Смотрит им вслед Иван Толкунов. Дошли до своротка, и не оглянулся сын. Девчушка плечом вроде повела, голову чуток повернула, а сын не оглянулся. Толкуновская порода. Крепкий сердцем. Вот и его пора подошла. Самого младшего, четвертого в семье...

Стоит Иван Толкунов у своих ворот, на плечи праздничный пиджак накинут... Добрая осень. Теплая. А память растревожило. К осени — другой оборотилась, всколыхнулась, а через нее к весне, послевоенной. Он тогда только демобилизовался.

Послали его во главе колонны механизаторов из МТС в колхоз «Октябрьский свет». Добирались они четверо суток, добирались по большой хляби. Приехали. Толкунов поначалу с председателем не поладил. Тот было стал выговаривать за опоздание, райкомом грозил.

Заночевал Толкунов в конторе. Обыкновенная изба, в ней стол, табуретки да несколько лавок. Толкунов укладывался спать, когда легонько стукнули в дверь. Она чуть приоткрылась, и в щель просунулась голова девчонки с длинной толстой косой. Стоя за порогом, девчонка проговорила: — Велели передать вам! — поставила кошелку на пол и закрыла дверь.

Толкунов догадался: председательская дочка. В кошельке лежал кусок сала, несколько горячих картошек в мундире, хлеб, полбутылки самогонки.

— Ублажает, — решил Толкунов. Ему представился сердитый председатель. — Да подавись ты! — Иван взял в руки кошелку и хотел было выставить за дверь, но передумал. Засмеялся, вывалил все на некрашеную столешницу и принялся ужинать.

Председатель был постарше Ивана; как выяснилось утром, тоже бывший фронтовик и мужик незлой, с понятием. Когда обговорили все до мелочей, наспорились и выкурили по три самокрутки, председатель пригласил Толкунова жить к себе...

Почти вся деревня собралась на полянке около конторы, где стояли грузовики, а около одного копошились шоферы, вываживая машину: спустило колесо.

— Что тут за ЧП? — спросил громко, так, чтобы слышали все, подошедший Толкунов, и сразу стало ясно, кто здесь главный. Он на людях подтянулся, построжал. — Что, спрашиваю, за городьбу городите? Тащите-ка живо вон те чурбаки.

— Куда их? — удивленно спросил кто-то. — Мы вот сейчас клетку выложим.

— Я тебя самого выложу сейчас, — пошутил Иван под дружный хохот. Острота пришла в самое время. — Приказано — выполний. Ясно? — Он мельком взглянул на председателя. Тот спокойно стоял и курил.

Когда парни подтащили чурбак и поставили его на попа, тот уперся почти в кузов.

— Ташите другой, — приказал Толкунов, — И быстро. — Принесли и другой. — Я сейчас задок приподниму, а вы чурки под раму подставляйте, понятно? — Иван полез под машину.

— Иван, — заглянул под кузов председатель, — ты спятил, однако.

— Не мельтеши! — оборвал его Иван, крикнул ребятам: — А ну, давай! — и уперся спиной в раму.

Колеса чуть вздрогнули, казалось, что они не хотели отрываться от земли, но вот появилась узенькая щель между ними и травой и стало видно, как кузов пополз вверх. Все притихли.

— Да подсовывайте, подсовывайте, черти, — засуетился председатель, когда колеса уже повисли над землей. Иван вылез из-под машины только после того, как рама надежно легла на обе чурки.

— Ну и цирк, браток! — восхищенно заметил председатель и, словно не веря себе, повел ладонью по толкуновской спине.

— А что? — Толкунов улыбался. Чуб — перевитая в кольца смола — упал на правую щеку, он рукой не спеша поправил его. — Во, девки, какие у нас женихи, — это он уже зрителям сказал, среди которых заметил и председательскую дочку с косой. И все еще продолжая красоваться, подошел к ней. — А я тебе, милая, за ужин и спасибо не успел сказать. Звать-то тебя как?

Девчонка хохотнула и затолкалась за спины стоявших рядом женщин.

— Да я же не кусаюсь, — высокий, широкогрудый Иван улыбнулся.

— А хоть бы и укусил, так, поди, не до смерти! — крикнула одна бабенка. Из-под платка, низко надвинутого на лоб, с белого тонкого овала лица широко смотрели на Ивана, не мигая и держа в самой глубине улыбку, озорные глаза.

Не выдержал бывший солдат, отвел взгляд, сказал председателю:

— Ну и бабы у вас!..

Председательская дочка Варька попеременно с другими девками и бабами кухарничала на полевом стане. Дощатая избенка с крышей, поросшей лебедой, укрывала людей от непогоды, в короткие часы сна. Конопатая, тонконогая, худенькая девчонка иногда вызывала у Толкунова при встрече желание погладить ее по голове, сказать что-то смешное. Но однажды она так прикрикнула на него, когда он было протянул руку к косе, такой жгучей строгостью обожгла его из темного прищура глаз, что Иван испуганно отступил.

— Чумная ты, Варька, — сказал он, — Чтоб мне провалиться, чумная!

Уже вторую декаду бригада Толкунова удерживала эмтээсовский вымпел. В районной газете «Октябрьский свет» хвалили. Ильин, директор МТС, приехавший однажды в бригаду, у всех на глазах долго тряс бригадиру руку, говорил, что он не ошибся и что он, Иван, теперь — пример для всех.

По субботам топили баню. Когда день по краю неба красной бороздой оступался в вечер, приходили на полевой стан посланные председателем подводы, чтобы везти бригадников в деревню.

После бани председатель и постоялец долго отсиживались на лавке, исходя густым крупным потом, курили и, наконец, садились за стол ужинать. Разговор заходил о победе, о поле, о делах. Уже и окна сизели в темноте, а мужики, перебивая друг друга, сидели одни, покойные в короткой радости, когда жизнь твоя кажется счастьем и в эту минуту, и, кажется, будет такой всегда.

И в ту субботу остались они вдвоем. Иван с председателем. Варьки уже след давно простыл — убежала на вечерку; жена по хозяйству хлопочет. Председатель объяснял свои мысли:

— Счастье человек при себе носит, а ему кажется, что

все он в стороне от него. Ты вот механизатор. Можно сказать, мастер по машинной части. Однако полного счастья ты достигнешь, когда все машины превзойдешь. Чтоб любой механизм, как поп часослов, мог разуметь.

— А ты знаешь, какие я машины видел? Даже орган заводил, — чуть вскипятился Иван. Слова председателя залили его самолюбие. — Штука вроде парового котла, играет, будто Федькина гармошка, только напевнее и пошибче — сразу на всю округу. А настраивать эту машину надо было, как часы.

— Ну все одно ж гармонь, — перебил председатель, — а не часы.

— Давай и любые часы, они у меня как миленькие заикают, заиграют.

— Ну, а если не заиграют?

— Обижаешь, Михалыч! — Иван нервно ерзнул на табуретке.

— Ну, не серчай, мы же в порядке беседы, — председатель поднялся из-за стола, — а все же я тебе, друг, экзамен сейчас дам. Есть у меня одни часы, таких-то уж ты, брат, не видывал. Швейцарские, еще отец из Питера привез, когда там по каменному делу работал.

Председатель долго рылся в комоде, наконец положил перед Иваном пузатую металлическую луковицу. Толкунов нажал на заводное колесо, и, глухо звякнув, отскочила крышка.

— Подай-ка мне, Михалыч, мою сумку с инструментом, поглядим игрушку твою...

Давно уже улеглись спать хозяева, уговаривали Ивана бросить все, но тот только бурчал:

— Заиграет игрушка чертова, или я не Толкунов Иван...

И когда в избе вперебой ходикам, что показывали давно уже за полночь, застучали колесики «луковицы» и звук этот, вырвавшись наконец, обрел четкий ритм, Иван поднялся из-за стола, поглядел на спящих хозяев, положил ча-

сы на комод, около их изголовья, и вышел на крыльце.

Высоко над сизо-прозрачным миром висела луна. Береза чернотой безлистых веток расчертала кусок неба над пряслом, и тени от них легли на землю. У калитки чернел женский силуэт, Иван узнал Варю.

На скрип двери она повернулась сразу, словно давно ждала этого. Повернулась и пошла. Сышен был каждый шаг ее. Вот она наступила на щепку, и та хрустнула коротко...

...На этом же крыльце однажды поутру, знобкому, светлому, какое бывает только в конце весны, когда земля, уже набухнув от бродящих в ней соков, удивленно прислушивается к прорастанию первых былинок, когда вместе с нею радуется своему счастью крестьянин, столкнулись Иван с Варькой.

Поверх тоненькой рубашки была на девчонке только юбка. Босые ноги тонко и хрупко вытягивались из огромных резиновых калош. Она посыпала курам зерно иозвращалась по плашке, проложенной от стайки через двор к крыльцу.

— Варька, чего дуришь? — крикнул Иван. — Простуду схватишь!

Она уже поднялась на ступеньку и, едва не задев его плечом, остановилась так близко, что Иван чуть отклонился. Волосы ее, с ночи не убранные, пушились на плечах, прикрывая ямочку под ключицей. Девушка смотрела в его серые, как от тумана, глаза и улыбалась.

— Ну чего? — с хрипотой в голосе спросил он.

— Ты бы лучше Клавку, знакомку свою, поберег, — сказала Варька, и так это у нее вышло, словно давно она хотела ему такое объявить, да все случая подходящего не было. И резко сорвавшись, Варька убежала в избу.

С того утра Толкунов как-то безотчетно стал избегать девушку, остерегаясь непонятного покалывания в груди. И сейчас, когда Варя поднялась на крыльце, сердце Ивана тревожно застучало.

— Ты чего сегодня не пришел на гулянье? — Она была Ивану по плечо.

Проходили минуты.

И вдруг, словно окунувшись в свою тень, Варя резко шагнула к нему, запрокинула голову, вскинула руки и приподнялась на цыпочки. Совсем перед самыми своими глазами увидел Толкунов ее лицо, освещенное лунным светом. По щекам катились слезы.

— Ты плачешь, Варвара? — спросил тихо Иван и сам удивился, что так выговорил это имя.

Поженились они поздней осенью. После уборочной Иван, возвращаясь в МТС, увез тайком Варвару...

Председатель на свадьбу не приехал, рассерчал. Но когда молодые вернулись сюда, в Сухой Брод, и поставил Иван самый красивый в деревне дом, когда родился внук, отошел сердцем председатель. Во время застольй он до самой смерти рассказывал о том, как починял ему постоялец мудреные часы, как увез, подлец, девку из дома и как рад он, Михалыч, теперь за них, и дай бог всякому такого зятя, которым перед людьми не стыдно и погордиться.

---

## „А ВОТ ПОСЛУШАЙ, ЧТО СКАЖУ...“

За окном июльская жара. Сквозь густую сетку листвьев в комнату падают горячие куски света. Они и на столе, за которым друг напротив друга сидят двое. Душно и тихо. Оттого голоса кажутся приглушенными, и оттого нелегко думать подследственному Николаю Шитикову и трудно писать следователю Семко.

— Как же не согласен? Все как есть правильно. Взял я на душу грех. Вот причина и вышла мне подпись сделать...

Косая челка седых волос перечеркивает лоб. Разучившиеся спать глаза красными белками глядят в лицо следователя.

— И под судом не приходилось бывать, а за что судить-то? Вот она, жизнь, вся на ладони, — он поднял над столом руку, широко растопырив сучковатые от мозолей пальцы, и сам удивился им. За всю жизнь, наверное, ни разу ему не приходилось так смотреть на свои руки, засмущался, невдовно потянувшись за ручкой.

Долго прицеливаясь пером, прежде чем вывести первую букву своей фамилии, он спросил:

— У меня деньги, понимаешь, на книжке, так теперь-то как бы сделать, чтобы ей, значит, получить, самой-то? Мы ведь нерасписанные с ней. И можно, чтоб суд был в другом месте? Мне все одно теперь, а им-то жить здесь со стыдом.

Вот, значит, и вышла мие причина подпись сделать, — отодвигая от себя листок допроса, повторяет Шитиков. — А теперь, гражданин мой дорогой, послушай, что скажу. Охота мне не для протокола, а для ради совести поговорить, не возражаешь послушать, а?

Следователь хочет изобразить суровость, для чего хмурит безморщинный лоб, пытаясь сблизить у переносицы бархотки бровей. Но у него совсем другое на лице: обычное любопытство. И следователь просто кивает головой в знак того, что согласен выслушать Шитикова.

— Я тебе с войны начну. Ее и в теперешней нашей жизни не обойти, хоть с какого бока подступай. Служили мы с Иваном, Марыным мужем, с самой действительной. Ну как братаны. Я сам себе голова, а у него, Ивана-то, Мария с двумя девками в доме осталась. Он любил о семейной жизни поговорить, мне это все в диковинку было, даже вроде смешно.

Ты не сердись, что так долго говорю, это чтобы понять тебе главное, не в оправдание я все, а чтобы главное ты

понял. Она, Нинка, как тебе сказала? «Не виноват отец», так? Это я, значит. А ведь я ей вовсе не отец, а может, даже наоборот! Понимаешь? Отцом-то чуть не через двадцать лет стал. Так уж ты потерпи, гражданин мой дорогой, послушай дальше.

Началось все в сорок первом, когда оншибко жал нас. Мы тогда хутора обходить старались, в Белоруссии, значит, это. Обходили, обходили хутора, сил не было, а тут пришлось так, понимаешь, что ни свернуть, ни отвернуть, а про бой и думать нечего. Выдохлись ребята совсем. Вот и послал нас с Иваном капитан в разведку. Эх, да и ходить-то было нечего.

По жердочкам да по кочкам добрались до задов. Тихо в деревне. По проулочку было в улицу сунулись, глядим — мост, а он, немец гад, раз в небо ракету, мы и обмерли. Стоим, как два дурака, а вокруг бело. Опамятались, да поздно — заметили. Мы к кустам назад, а по нас из автоматов. Рванулись мы в сторону через прясла, тут мне руку и обожгло. До камышей добегать стали, тут и Ивана достало. Взвизгнул он — и как все равно подрубили. А небо от ракет горит.

Я его одной рукой подхватил, черт знает, откуда и сила взялась, с перепугу, что ли? Подхватил я его одной, зубами за воротник держу и по воде шлепаю, изловчился как-то. Мышит Иван, значит живой.

Минут двадцать брели, неглубоко. В глазах круги красивые, а мне все ракеты чудятся. Руку саднить перестало, или так уж я ее просто не чувствовал. Челюсти, как у бульдога, вроде судорогой свело. Помню, кусты какие-то зачернели в сторонке, я к ним повернул, шагнул было, да прямо в омут-то с головой и ухнул.

...Вынырнуть-то я вынырнул, гражданин мой, да только один. Сунулся было опять в воду, а дна и нашупать не могу. Вот оно как выходит...

На сушу как набрел, плохо помню. Открыл глаза, вижу, висит надо мной белый фонарь, как раз над головой.

Вот и все, думаю, отвоевался, брат! А сам ни рукой, ни ногой. Закрыл глаза, жду смерти. Только никто меня не трогает. Не вытерпел, страшно, а зенки-то сами собой разжмуряются. Господи, так тебя сяк, я это звезду с фонарем по-путал.

Стал соображать, где я. Слыши, Иван стонет, вроде... Да вспомнил я все. А голос дружка в ушах у меня, видать, остался. Здоровой рукой воды нащупал, побрызгал на физию, маленько просветлело в голове. А руку словно выкручивает кто или жгет каленым. Давай я изворачиваться, рубаху на себе исподнюю рвать. Кое-как кусок оторвал, выше раны перетянул, немного отпускать стало. Приподнялся я на колени, что-то темное впереди вижу. А кровь, помню, все хлещет, не унимается. Присмотрелся, а это та деревня, и совсем она рядом, а вокруг вода блестит. Туман подниматься стал, сгустил черноту, хоть пей. И вот, веришь, первый и последний раз со мной случилось, заплакал я. Плачу и кляну последними словами войну за подлость ее... Меня наши же, ребята рассказывали, потом и подобрали, кровью сильно изошел. Думаешь, жалуюсь. Душа, видать, через край не принимает больше, вот и говорю.

Дочка, слышь, на свиданке говорила, что мать-то слегла и, мол, велит она адвоката-защитника нанять. А я думаю так: ни к чему все это. Какой он ни был, а все один человек ведь. В спокойствии рассудить, то не имел я никаких правов жизни его лишать, хоть и лиходей он, мучитель. Да, вот было оно и сплыло, спокойствие, гражданин мой дорогой следователь. И, может, правее всякого закона я себя в неправом-то деле чувствую перед совестью своей. Поэтому и нечего на адвоката тратиться, им деньги еще пригодятся. Верно я говорю?

Сбылся с разговора. Рука-то, видишь, наладилась у меня. Я до самого конца войны довоевал. А жене Ивана, Марье, тогда я так отписал, адресами мы с ним с первого дня поменялись на всякий случай: «Погиб ваш муж и отец геройской смертью».

Шитиков замолчал. Следователь, достав из пачки сигарету, подтолкнул пачку по столу в сторону подследственного. Закуривали они молча. И каждый по нескольку раз громко затянулся, прежде чем Шитиков заговорил снова.

— Сюда я прямо из-под Берлина. Как стали адреса заполнять перед демобилизацией, ну и решил я. До дому, алтайские мы, рукой подать, думал, посмотрю, может, что подсоблю женщине по ее вдовьему делу. Стали к Тополинску подъезжать, пропал у меня сон и кусок в горло не лезет.

Кое-как отыскал улицу Зеленую. Снег еще не сошел, грязища непролазная. Домишками кособокие, подгнилые стоят. Не то что сейчас хоромы с ве́рандами. Иду я к Иванову дому, показали мне издали проулок, а за спиной чую, как меня люди глазами провожают. Узнавать не узнают, а все смотрят: чей-то солдат вернулся. А ноги мои вовсе не идут. Ну зачем, думаю, приехал, дурак?

Остановился у калитки дух перевести, а дверь настежь, и баба простоволосая босяка выскочила на крыльцо, а за ней девчонки и тоже босяя.

— Пустишь, — говорю, — хозяйка?

Как сейчас вижу. Она головой так из стороны в сторону водит, а сама руками за горло схватилась. Только через порог ступил, кинулась ко мне, закричала. Ох, и страшен он, этот бабий крик. Стою столбом, не знаю, что делать, двери нараспашку, закрыть бы их, да не знаю, чего с хозяйкой-то делать. Утихла когда, стала на стол собирать. Я подарки им кое-какие привез, девчонки рады, побежали на улицу показывать, а мы с Марьей за стол сели. По одной да по другой выпили. Она все про Ивана пытает, да про жизнь свою вдовью рассказывает. В голос не кричит, а нет-нет да и утрется передником. Поздно мы засиделись. В горнице на полу постлала она мне, и всю ночь, почитай, я судьбу свою раздумывал. Утром проснулся когда, смотрю, сидит Нинка, старшая, на полу около моей постели, смотрит на меня. Вдвоем мы с ней, оказывается, остались,

мать на шахту, на работу ушла, меньшую отвела соседке.

Делать, сам понимаешь, было нечего. Пошли мы с Нинкой город смотреть. Ну я, конечно, при параде, полный кавалер солдатской славы, теперь и шахтерская у меня полная, все три знака, а видишь, что выходит, под корень эту славу всю, и сижу я тут перед тобой, седой да искореженный, опозоренный самым что ни на есть страшным образом...

Идем мы, значит, держу я девчонку за руку, а сам себе думаю: не знаешь ты, не ведаешь, дите неразумное, что это за дядька с тобой рядом. Все-то Ивана я вспоминал. Ну, тогда единое место гулянки было — базар. Вот мы и очутились, конечно, там. Тебе незнакомо, а послевоенный базар — это хоть козу покупай, хоть воду святую, ей богу, там и такую продавали! Ну, мы с Нинкой, конечно, первое дело к конфетам сунулись, такие цветные палочки, уже не помню сколько штук, но много мы взяли и дальше бродим. Смотрю, солдат один, видать, тоже демобилизованный, булку хлеба продаёт. Я к нему: почем, браток? Он уже веселый, говорун такой, тебе, говорит, земляк, и по дешевке уступлю. На восьмидесяти рублях сошлись. Это верно, он дешево отдал, я ему деньги, а он говорит: пойдем-ка по чарочке.

Конечно, угостились, сперва он, затем и я от себя выставил, тут же опять у старухи какой-то и брали, разговорились: воевали чуть не рядом. Да по этому делу, мы, почитай, все земляки. Он домой поехал, догуляю, говорит, и в шахту. Хватит бабам под землей сидеть, пусть теперь население увеличивается, говорун, конечно дело. Нинку я при этом все при себе держал.

Ну, я о себе рассказал, а вот и теперь другой раз подумаю, может быть, не след мне приезжать было? Ты чего не подумай, живем душа в душу. А вот скажи, ну чего принесло?

Слово дружку дал? Такого и уговора-то не было, видать, засела в меня вина, что не уберег я его? Вот сам-то

выкарабкался, а? Как ты думаешь? Видать, совесть-то в человеке самое непокойное. Не надоел я тебе? Может, время занимаю, ты скажи, не робей, а то посиди, чуток послушай, тебе ведь жить да жить, поди, за двадцать чуток перевалило? Вот этакие и мы с Иваном были...

Ну, значит, накупили мы с Нинкой сала, консервов американских, конфет, да уж и не припомнить всего, и домой. А там название одно — что дом. Все подгнило, сараюшка вовсе развалился, забор только что не лежит. Как глянул на разруху эту, сердце зашлось.

Думаю, подсоблю малость хоть, кто ей что сделает, с утра до ночи почти на работе, а там и подамся, восвояси. Ну и принялся, значит, за дело. Помню, вот скажи, и дело совсем пустяковое, и годов сколько утекло, а, вроде, нонче все произошло. Помню, сижу это, на сараюшке, крышу перестилаю, курю, а Мария с работы вернулась. Стала у калитки, смотрит и глаза утирает. Вот так и стоит, вижу. В фуфайке, глаза подсиненные, это от угля, в шахте ведь работала, платок цветастый на ней, и краем платка этого слезы смахивает.

Может, тогда и запало мне на душу это дело, но сам я еще ничего не знал, успокоить не умею, да и какой уж тут покой.

Так-то я в горенке на полу, почитай, с неделю прожил. На сон я никогда не жаловался, а тут не идет, и все! Нету сна, а все что-то саднит да саднит, вроде вот как потерять не потерял и найти-то не нашел. Кое-как самое аварийное я залатал, и ехать уж пора, конечное дело. Сидим это мы с ней за столом, о том да о сем говорим, я тут деревню вспомнил, а там-то у меня и родни только по третьему колену.

А она возьми да и скажи мне:

— Ты только чего плохого не подумай, я вижу, ты человек самостоятельный, я ведь все равно квартирников держу. Тяжело одной-то с ребятишками, да и во дворе когда помощь нужна. Коли некуда ехать, так оставайся, на шахте работы хватит. Дорого не возьму, а похлебать всегда сго-

товлю да обстираю. Там оглядишься, обживешься да не-  
весту подыщешь, девки у нас — лучше не сыскать!

Остался. На другой день — на шахту. Там меня в один час оформили, аванс выписали, и пошел я в забой.

Работы я никогда не боялся, мы, деревенские, к ней привычны. Поначалу, правда, все наверх поглядывал, прислушивался, ну да это быстро прошло, освоился, приноровился. Дома все гладко. Мария — женщина строгая, да и я место помнил, квартирант и есть квартирант. А с девчонками подружился, они меня дядей Колей кличут, а старшая, Нинка, и на работу проводит, когда матери нет, и встретит, накормит. С полгода так, может, более, прожили.

Позвал как-то под Новый год ее сосед, ну, а она и меня с собой взяла, мы тут в одну смену оказались. Я еще нешел было, а потом думаю: все ж праздник. Самогон там, пиво, бабы плачут, мужики которые не отстают. Не в радость и праздники когда-то были. Засиделись и домой уже затемно пошли. Возьми я на крыльце-то и обойми Марию. Скажешь, так, с дуру, от хмеля, от тоски по бабе? А кто ее знает, оно, может, и так. Мне ведь на четвертый десяток перебалило, а как по-настоящему обнимаются и не знал.

Стоим мы так на крыльце, она голову мне в фуфайку уtkнула. А меня словно кто в спину толкнул. Пьян-то, пьян, а соображаю. Отстрянул я от нее, она аж вздрогнула.

— Ты что? — говорит.

— Не можем мы, Маша, с тобой, — говорю, — об этом думать.

— Что ж, — говорит, — я теперь на всю жизнь проклята? — Это она у меня спрашивает. А я возьми да и брякни:

— Не ты, мол, а я распроклят на всю жизнь.

Она так с непониманием поглядела сперва, а ночка светлая-светлая, каждую морщинку на ее лице видать. Я было руку протянул, а она как вскрикнет да завоет, что твоя волчица. И такой она мне разнесчастной показалась, что в пору хоть самому в петлю.

Ушел я от них в общежитие. Изредка заходил, все денег

хотел дать, видно же, как надрываетя, да только не брала она.

— Нет у меня на тебя зла,— говорит,— но уж лучше бы не ходил ты.

А во мне что-то вроде повернулось, и укрепился я в мысли. Думаю, пусть самолюбием занимается, но я уж не мог, понимаешь, никак.

Не помню, сколько и времени прошло, время, дорогой мой гражданин, уж к трем десяткам с тех пор. Сошлись мы с ней. Девчата, конечно, мужская строгость была нужна, да ведь и сами мы, поди же, не каменные. Не играли, конечно, свадьбы, зато Нинке уж я справил свадьбу сразу и за себя. Нам как-то не до веселья особого было, так вот вроде сперва как примерялись друг к дружке. Младшая, так та сразу тяткой стала кликать, погодя и старшая побывила. И как будто наладилась жизнь. Только, видно, забываться оно ничего не забывается. Другой раз чудится мне, что Мария еще и сейчас Ивана вспоминает, но я уж виду не подаю.

И как в лаву спустился, так до последнего дня на угле. Ну постепенно, конечное дело, и в доме веселело. Коровенку завели, тряпки кое-какие, собирать стали на новый дом. Видел бы ты, как мы этот самый дом строили. Вдвоем этот дворец соображали. Я с одного конца бревна, а она с другого. Иссохла сама, на девок покрикивает, а дом-то все выше и выше. Помню, последний венец клали, а она и признается:

— Не могу я более тягость такую поднимать! Нельзя мне!

Видишь, как жизнь сама по себе действует и согласия не спрашивает.

Окна прорубили широкие, светло у нас в каждом углу. Кажись, и новоселье недавноправляли, детскую мы с солнечной стороны распланировали, а глядь, девки-то наши и заневестились. Мать у нас уже по хозяйству дома занималась, а Нинка на шахту пошла, мотористкой на обогати-

тельную. Семья шахтерская, конечное дело. Семилетку за-  
кончила и пошла на шахту: учиться, говорит, еще успею.  
А тут другое подоспело.

У нас же на участке и работал чертяка! Ну, и лихой же  
врубленист был Мишка. Если уж он на смене, завсегда  
уголь подрубит как надо, все в аккурате, и машина, как ча-  
сы. Вот ведь свела же их судьба. С Нинкой нашей.

Пришли однова вместе. Мишка пол-литра на стол. Так,  
мол, и так. Ну что ты будешь делать. Мать, конечное дело,  
в слезы, но отговаривать не стали. Решили: свадьбу будем  
делать.

Мы с Маней, словно к своей свадьбе, готовились. Краси-  
во отгуляли. Соседи и те радовались. Оба-то они краси-  
вые да здоровые, удача, говорят, Мария, у тебя хорошая,  
люди поздравляют.

Прошло времени-то пустяк. Раз за стол сели, гляжу, а  
у Нинки под глазом синяк. Я за зятя. Так, говорю, у нас  
в доме не водится. Что это, говорю, к кровати еще привык-  
нуть не успели, а уже норов показываешь. Да по пьянке,  
отвечает. Ну, конечное дело, водка и из курицы петуха  
сделает. Думал, по нечаянности. Знать бы — не допустили.

Затеяли мы молодым дом срубить, рядом почти с нами,  
чуть за проулком. Зять как с шахты, так за топор, утром  
чуть свет и на сруб, работящий, сукин сын, был... Ох, ра-  
довались мы с матерью за Нинку. Новоселье чуть не не-  
делюправляли, дружков у него, конечное дело, пол-Топо-  
линска, надо всех ублажить. Мы не перечили, но обычно  
как будто все шло. Мы, шахтеры, конечное дело, погулять  
по праздникамшибко любим. Очень мне по сердцу, когда  
у меня застолье полное, но ум-то завсегда при тебе должен  
быть, а коли нет, так и за стакан не хватайся, морока одна  
от тебя потом людям.

Это вот я тебе говорю, а тогда, как застлало зенки-то  
поначалу. Тут мне уж люди говорить стали, да и сам заме-  
чуло, что, как они переехали в новый дом, ну, подменил  
словно кто зятя. А может, у нас подменный жил, черт его

знает. Ну не стало с ним спасу. Приду это я к нему: что же ты, Михаил, утворяешь, на шахте ведь уже пальцем показывают на нас.

— Ты,— говорит,— папаша, не сумлевайся, это временные трудности, и мы их преодолеем.

И верно ведь, подлец, дня три держится, не нарадуешься. И на шахте, и в дому горит работа в руках у него. А как сорвался, и покатилось, понеслось!

Однажды прибегает Нинка, растрепанная, в слезах.

С ножом, говорит, гонялся за ней! А баба последнее время ходила. Ну, я к зятю, спит себе, гад, на полу прямо и во сне улыбается, чисто ребенок. Что-то жалко мне его стало, дурак ты, думаю, губишь свою жизнь и не видишь как. Стал я вроде шефство над ним держать, неприметно так. Упросил, чтоб нас в одну смену перевели, и, конечно дело, на шахту вместе, с шахты тоже. Где какие дружки-приятели, а я тут вот. Пойдем, дескать, Миша, жена с дитем, родила ведь Нинка парнишку, ждет, ну и теща там чего напекла-нажарила.

Не совсем, но приутих парень, за ум, похоже, взялся. Удочки купил, ружье двустволку. На рыбалку стал ездить. Там тоже сухо не обходится. Но от воздуха, может, или от чего еще, но домой уж тихий приезжает и на том, как говорится, слава богу!

Да ведь люди говорят: бог-то бог, да сам не будь плох. Уж не помню, с рыбаки ли или еще по какому случаю, а избил он, сволочь, опять Нинку. Правда, уж времени много прошло, Колька уже ходить начал, это они так внучонка назвали. Вот он ее и разукрасил, конечно дело.

С участка он сбежал. Перешел в посадчики на пятый. Рисковая работа, но, зверь, работы не боялся никогда, а деньги опять спускать стал, я, говорит, может, как на фронте, каждый день риску поддаюсь. Я его и на пятом достал. Он со мной всегда уважительно, я, говорит, папаша, осознал свою подлость. А после последней-то их войны ушла от него Нинка, прибежала к нам. А утром и воин приложил.

— При ваших,— говорит,— глазах, родители, я обещание даю подлость свою прекратить, потому как я семейству своему голова.

— Голова,— говорю,— да дурная, а ведь у тебя уже сын растет, чего ты, говорю, думаешь?

— А думаю,— говорит,— жизнь на сто восемьдесят градусов повернуть.

Он же, шельма, сообразительный был, сукин сын!

Что делать прикажешь? Какой ни на есть, а все отец ребенку. И, конечное дело, все же в человека верится, не зверь же, у того, приглядись, и то маленькая, а, поди, душа есть... А любовь? Опять, видел же я, что любила его Нинка. До калитки, как говорится, не дошли, а он за свое. Грешен, не утерпел я раз, набил я ему, прости господи, морду, здорово набил, силушка еще кой-какая держалась во мне.

И знаешь, как будто на пользу пошло. Приутих, на работе складно стало. Начальник мне его как-то и говорит: Шитиков, зять-то твой на исправление пошел, за ум взялся.

Оно и верно, только с другой стороны, оказывается. Это я тебе скоро так говорю, а волынили мы где-то годка три, пожалуй.

Он ведь, темная душа, что удумал: стал Нинку подговаривать дом продать. Дескать, потому у нас все кувырком идет, что старики мешают. Вон, мол, и Кольку от дома отучают. А внучек-то, правда, все у нас. Что дома-то одному, в ясли мы не захотели отдавать, бабка дома, а чтобы внучек по людям, да это же, конечное дело, ни к чему.

Ну, баба, она завсегда баба и есть. Ни слова, ни пол слова не сказала, а пришла и объявила:

— Дом мы продаем, в казенную переходим!

Ведь дали же еще и казенную; как он ее выхлопатывал, ума не приложу. Правда, комнатушка маленькая, в старом бараке, и ведь на очередь поставили, на благоустроенную.

Пошел я в шахтный комитет разузнать. Показал мне председатель заявление зятево, Нинкиной рукой писанное,

и с резолюцией участкового профсоюза и начальства. Он, значит, писал: ввиду семейных обстоятельств должен дом продать, рядом живущие старики — это мы, выходит,— вникают, дескать, в их личную жизнь вплоть до разрушения.

Рассердился я, ругаться стал, а Нинка враз отбрила:

— Не ваше это дело. Вы мне не указ. Может, из-за вас и жизни у меня нет.

Стою и крыть мне нечем. Мать, конечно дело, в слезы. Переехали. Думали, может, и верно добром заживут. Все самостоятельности больше. А то в огороде — бабка, что по дому — я подсоблю, они, можно сказать, самостоятельности-то, верно, и не видели. Пусть себе попробуют, глядишь, и добром заживут. Вон Мишкины приятели! Кто с мотоциклом, а кто и на машине баб своих возят, а он ведь тоже не лыком шитый...

На шахте мы редко с ним встречались, к нему я не ходил: не зовут, ну, а напрашиваться я не умею. Маня нет-нет да и забежит. Хорошего, говорит, мало, но все не так зверствует. А тут по шахте слух прошел, что чуть ли не неделю зять-то мой в загуле был. Я специально на участок наведывался, и там подтвердили это дело. Стыдобушка на седины-то мои, да больше обиды болесть за Нинку грызет. А что делать?

Он меня как-то за мостом, со смены я шел, встретил. Лохматый, опухший, грязный, на себя не похожий.

— Опохмель, — говорит, — папаша.

Плюнул я в зенки его пропитые. Ежели, говорю, опохмелью я тебя, зятек, век не пропрозвеешь. Ведь вот сказал же такое. Не думал я ничего, а сказал. А он так нехорошо замсиялся: мы, говорит, еще с тобой повстречаемся.

— Дома-то чего лютуешь, темная твоя душа, оставил бы невинных в покое.

— А, может, она и виноватая во всем, почем тебе промеж нас все знать? — говорит он мне. А сам все улыбается да словно плачется, так это у него выходит.

Однажды я со смены отдыхал, приходит Маня вся в слезах. Избил изверг Нинку, говорит, места живого нет. Ну и пошел к ним в гости. Захожу в комнатушку — а какие хоромы-то были! — захожу, лежит Нинка на койке черная, как уголь, глаза из стороны в сторону бегают, дрожит вся. Меня, глядя на нее, изморозь взяла.

— Одевайся, — говорю, — дочка. — Привел я их к себе домой, а бабе наказал гнать зятя в шею, если вдруг объявитсѧ. Он и правда раза два без меня приходил, ну, а потом вроде как и сгинул вовсе.

Месяца два прошло, слышу говорят, рассчитался. Ну, думаю, черт с ним, может, бог унесет куда. А мы как-нибудь проживем. Нинка-то отошла совсем, повеселела. Решила на работу пойти, он ведь, нехристъ, рассчитал ее, чтобы, дескать, не перетружалась, ах ты темная душа. Играет она дома с ребенком, матери по хозяйству помогает, и забывать мы про горе наше стали, как ровно про страшный сон.

Позавчера прихожу с работы, с четырех я ходил. Дома все вверх дном. Посуда перебита, у бабы губа будто поджарена. Оказывается, зять в гости приходил. Ну, а дальше, как в протоколе написано. Аккурат второй час ночи был, я когда с койки встаю, завсегда время гляжу, привычка, конечноное дело.

Кто-то в дверях трах, бах! Спрашиваю:

— Кто? — молчат, а потом голос незнакомый.

— Отворяй, хозяин, гости пришли.

— Какие такие гости? — спрашиваю. А сам говорю бабе: — Кто-то запутал, что ли.

А в тот самый момент вот булыжник, что у тебя на столе, дзынь в окно. Стекло вдребезги. И слышу, Мишка кричит: «Нинка, выходи, а я сейчас с тестем говорить буду!»

Бабы всплошились, Нинка около меня тут в одной рубашке мечется, все причитает: — Папа, ой, папа, ой, папа!

А он, подлая душа, прости меня грешного, уже за наличники уцепился, окна-то у нас высокие: и по шипке чем-то шарах. Ее как и не бывало, гляжу, а он это прикладом

ружейным. Ну что, думаю я, на фронте не погиб, от народа почести за труд принимал, чтобы от поганых рук умереть. Я вовсе не в оправдание, ты не думай, говорю. Но, видать, вскипело во мне. Годами, видно, собиралось, набаливалось. Может, тогда я и не так складно думал, конечное дело, не до дум было. Может, потом сообразил, но по душе, гражданин мой дорогой, так выходило. Я было потянул за приклад, да он вырвал и стволом уже в пролом-то тычет. Я за ствол, он, видать, не ожидал, и вырвал я ружье. Он же, подлый, все одно в окно лезет, последними словами костерит нас. Ну, сунул я ему дуло в морду, нет же не угомоняется.

Я и взвел курки. Может, поверху хотел, а может, и нет. Теперь кажется, что поверху, а тогда, думаю, что в него целил.

— Уходи от греха,— кричу. А он, подлец, Маню стал обзывать, и, когда дошел уж до нетерпения моего душевного, пальнул я из обоих стволов. Говорится все долго, а там-то если минутки три прошло, так хорошо.

Загремело когда, помню, Нинка закричала. Оглянулся я, а глаза-то у нее точь-в-точь Ивановы, серые, с крапинкой. И как это я раньше, думаю, не разглядел.

...За окном жара. В комнате кусочек света упал в графин с водой, что на подоконнике, и разбрзгался тихими маленьенькими радугами на полу. Одна из них семицветно легла около широкого носка кирзового сапога Шитикова.

---

## ЧЕРНЫЙ АМЗАС

Вечером за ужином на прощание старший мастер пожертвовал спирт из НЭ. На следующий день рано утром по туману Алексей с Николаем ушли с буровой.

Решили выйти на трассу напрямик, через увалы, это ра-

за в три сокращало путь. Получив вызов на сессию из института неделю назад, парни спокойно бы улетели вертолетом. Но так как почту привезли из Таловки только вчера на вездеходе, а следующий вертолет ожидается через неделю, не раньше, то и пришлось им выбрать пеший маршрут, тем более, что до трассы часов восемь — десять ходу, поэтому их на буровой никто не отговаривал, а, наоборот, как всегда бывает, надавали кучу поручений.

Хрустко утаптываясь, ломается, опутывает ноги осенний травостой. Туман час от часу редеет, при каждом шаге неожиданно промеживаясь осинками и березками. Вдруг высветило из-за пихт. До легкости дыхания, до озорного щекотания в груди высветило приветливым днем.

— Ого-го-го! — запрокинув голову, неожиданно кричит Николай.

— Хо-хо-хо! — отклинулось небо, чистое и холодное, как родник из-под корня старой ели. На худенькой, уже почти уронившей весь лист березке задрожала паутина; испуганно пискнув, откуда-то выпорхнула пичуга. Парни шли по старой вырубке.

А когда примерно к обеду после очередного подъема далеко внизу разглядели серую, в коричневых берегах нитку реки, а в стороне, в низине, несколько длинных крыш, поняли, что заплутали.

— Ты знаешь, куда мы вышли? — спросил Алексей. — Это же Черный Амзас, помнишь, Матвеич рассказывал?

Это был заброшенный лесопункт, откуда по берегу еще не менее пятнадцати, а то и все двадцать километров надо добираться до базы. Трасса и вовсе в стороне осталась.

Делать было нечего, стали спускаться к поселку, окунувшись в цепкий кустарник. Николай примирительно бурчал:

— Хоть крыша над головой будет, тушенку откроем — объедение!

Вздох облегчения вырвался у обоих, когда, проравшившись сквозь колючки, они услыхали под ногами тихий

скрип речной гальки. Умывшись, напились, пожевали хлеб с водой и пошли вдоль берега, вверх по реке, в сторону поселка. Так они прошли с километр, когда увидели: за небольшим мыском чуть не у самой воды горит костер, около которого спиной к ним сидел мужчина. Заслышав шаги, он обернулся, потом выжидательно встал. На нем была привычная для глаза таежника фуфайка, что пригодна в любую пору, кирзовье сапоги, без которых в тайге шагу не ступить. Костюм этот ничего не говорит о профессии владельца, да, кроме того, еще и как-то затушевывает возраст.

На приветствие он ответил сдержанно, пригласил к огню. Присев на корточки, деловито стал поправлять костер.

— Может, закурите,— после затянувшейся паузы и для начала разговора предложил Алексей.

Мужчина поднялся, сплюнул в сторону от огня, перешел на ту сторону, где сидели ребята, и протянул руку за папиросой.

— Шишкари? — кивнул он на рюкзак.

— Нет, с вышек, в Таловку идем, да вот крюк дали,— не желая признаваться в том, что они заблудились, сказал Николай.

— Я и то гляжу, шишкарям как будто бы и неоткуда взяться. Геологи, значит. А до Таловки в ночь не дойти, разве что по старому лесовозу.

— Теперь уж куда спешить. Не прогоните — заночуем.

— А чего гнать,— усмехнулся мужчина,— вон они, палаты,— махнул рукой за спину, в сторону бараков,— любую выбирайте. Я тут один, сам себе за старшего, такая, значит, положительная сторона дела получается.

Он поднялся и снова стал подкладывать в костер. И получилось это у него так, словно жег здесь он его каждый день с определенной, ему одному известной целью. Помолчали. Надо бы уже слово сказать. Хозяин и начал.

— А с собой у вас ничего нет? ни бутылки? — спросил

он, и на лице его, освещенном пламенем, в глубоких во всю длину щек морщинах застыла усмешка.— Значит, в Таловку, поди, в отпуск?

— В отпуск,— подтвердил Алексей и тоже приблизился к огню.— Прохладно.

— Осень,— согласился мужчина,— да и к ночи.

Небо на той стороне реки над зубчатыми спинами бугров начинало белеть, а здесь поднимались потемки, и костер дожигал последние краски дня.

— Давно в сторожах? — спросил Николай.

— Седьмой месяц. Как в расконвойку пошел.

Из-под лохматых бровей на ребят блеснул острый оценивающий взгляд, а, может быть, это был, всего-навсего отблеск костра, потому что, когда он приподнял голову, в глубоких глазницах стоял покой.

— И все один? — несколько неуверенно продолжал разговор Николай, стараясь почему-то смотреть так, чтобы собеседник не догадался, что его изучают. Алексей украдкой тоже бросал короткие взгляды на фигуру в фуфайке.

Мужчина не мог не чувствовать состояние своих гостей, может быть, его даже забавляла их растерянность, скрыть которую никак было невозможно. Он усмехнулся:

— Зачем один? Весной сплав идет. Вы вот опять пожаловали. С неделю, как рыбаки останавливались, тоже отпускники. Тут у костра прямо и заночевали, и я с ними. Такая, значит, положительная сторона дела получается.— Он резко встал.— Ну, пошли ко мне, что ли, в гости,— и губы резко надломились, опустились вниз.— Может, брезгуете?

— Да что вы! — чуть не в голос выкрикнули ребята, все еще не пришедшие в себя от этой встречи.

Он уверенно и крепко ступал по гальке в холодной темноте. Каждый из трех за время пути не сказал и слова, не считая нескольких чертыханий, произнесенных шепотом, когда кто-нибудь запинался на совсем невидимой тропе.

Настороженное боязливое любопытство замерло в каж-

дом из парней. Подошли к избе с высоким крыльцом, дверь которой была распахнута.

— Вот и дом,— поднявшись на крыльце, сказал хозяин,— входите.

Сам прошел в темноту первым. Слышно было, как он что-то поставил на стол, потом достал спички и шаркнул одной по коробку. Изба осветилась робким слабым светом керосинки, не захватывающим далекие и глухие углы.

— Скидывайте мешки, картошку будем варить,— подкрутив фитиль и чему-то усмехнувшись, как на берегу, проговорил хозяин.— Вот, значит, так и живет Митька Грач. Курорт! — Он все-таки куражился.— Полное свое удовольствие, а вообще-то Громов я.— Это он сказал, уже приседая перед открытой печкой.

Видимо, раньше здесь было караульное помещение. В дальнем углу еще оставались однорядные деревянные нары, в узком зарешеченном оконце отблескивал язычок керосинки.

Пока разгоралась печка, разговор не клеился. То начинали о сплаве, о том, что вода была мала, то об урожае в кедрачах, то подоспел разговор о соленьях и вообще о таежной еде. И гостям, и хозяину было неловко, все присматривались друг к другу. Наконец, Громов опрокинул на голый выскобленный стол кастрюлю душистой обжигающей пальцы картошки, крупно через всю буханку нарезал хлеб, достал с полки пол-литровую банку соли, принес еще одну кастрюлю с подогретой тушенкой, сел сам и позвал на лавку напротив гостей.

Перебирая пальцами, дуя на картошку, он разломил ее:

— Жаль, что пузырька с вами нету,— совсем по-своему мечтательно заметил он. Парни потянулись за картошкой, так же дули на нее, перекидывая с ладони на ладонь. На рубленых стенах изогнулись длинные тени. Умиротворение согласия настало за столом.

Громов подтолкнул банку с солью на середину стола:

— Крепче соли — полезнее.— Он чуть в сторону ото-

двинул лампу и прикурил фитиль. — С керосином завал.

Тени на стене съезжались, а Николаю показалось, что с лица хозяина как-то сразу сошла окалина, чернея только в глубинах морщин усталостью.

— С утра не заправлялись? — запихивая в рот очередную картошку, заметил он.

— Засветло думали добраться, — пояснил Алексей.

Громов понимающе кивнул:

— Что же не на вертолете? — спросил он, когда, уже насытившись до усталости, они все закурили из пачки, брошенной Алексеем на стол.

— Срочно надо, а вертолет только через два дня, на экзамены опоздаем.

— Учитесь, значит?

— На заочном.

— Как это? — не понял хозяин.

— Ну, как? — удивился Николай, но пояснил: — работаем и учимся, не знаешь, что ли? У нас еще по одному «хвосту», до сессии надо сдать. Представляешь?

— Наколку-то сам сводил? — движением головы покашав на Алексееву руку, неожиданно спросил хозяин, а тот непонимающе и сам поглядел на руку. Под неровным светом коптилки можно было разглядеть между большим и указательным пальцем несколько синих пятен.

— Это? — догадался Алексей. — Это не наколка, это в шахте, след от угля.

— Ишь ты, значит, метит?

— Метит!

— Как тайга, — усмехнулся хозяин.

— Почему, как тайга? — не понял Алексей.

— А ушел чего? Поди, с испугу? Работа, должно, денежная?

— Почему с испугу, там не так уж и страшно. Не страшнее, чем здесь, — сказал Алексей и торопливо поправился, — я говорю не страшнее, чем здесь, в тайге... А работа, правда, денежная. Я мастером работал в лаве...

— У нас Славка был из Анжерки, рассказывал, шибко денежная работа. Ну, а че ушел, спрашиваю?

Алексей пожал плечами. Ему как-то не приходилось никогда задумываться над этим. Все казалось совершенно закономерным, естественным. И он вовсе не уходил с шахты, он просто был там временно. В разработчики случайно попал. На буровое отделение не было набора и пришлось пойти на разработку. После окончания надо было, конечно, отрабатывать. И сразу в тайгу. Однако по тому, как пристально насторожились под лохматыми бровями громовские глаза, Алексей почувствовал — не сумеёт всего этого он объяснить.

Они сидели за столом напротив. Ели картошку из одного котелка, доставали соль из одной банки, только по разные стороны столешницы сидели не просто незнакомые люди, нечто большее разъединяло их. Алексей все не мог подыскать подходящие, убедительные слова.

А в Громове поднималось раздражение: народ грамотный, хочет разыграть его, и Митька Грач взбунтовался в нем. Он интуитивно остерегался таких вот разговорчивых и со злой ухмылкой сказал:

— Смешно, выходит, что без тайги, как без хлеба, ты жить не можешь?

Ребята не могли не заметить перемены в настроении хозяина, но виду не показали.

— Ну, а ты? — спросил Громов Николая. Тот тоже кивнул.

— Нет, не верю я вам. Если бы еще шишкари, рыбаки были — те пришли да ушли, — тогда бы поверил, а чтобы всю жизнь! Ну, за что ее любить? За гнус? За колбú? Все это туфта. А просто доля у тебя такая, а? Сам себе мозги туманишь, так и спокойнее землю колотить? Такая, значит, тенденция идет? Нет! Тайга, она зверя в человеке будит. Вот уходите же в город...

— Мы же учиться. Мы ведь вернемся.

— А к чему? Сейчас ты по-звериному живешь, кома-

рье кормишь, ученый возвратишься, и что? Только что бугром станёшь? А гнус, промежду прочим, всех одинаково ест.

— Ну что заладил: гнус, гнус, от него ведь «дэтой» спастись можно.

— Это ты верно заметил. От себя вот чем спасешься? — Громов как-то сник, но тут же, словно собравшись с новыми силами, поднял скрюченный палец. — Я же вижу, от тайги хоть на время хотите сбечь. Только ведь она не отпустит, если фарту нет. Я вот дважды с ней, родимой, прощевался. — Губы его криво изогнулись. — Такая положительная сторона дела получается.

— Третий раз? — полюбопытствовал Алексей и тут же замолчал, почувствовав бес tactность своего вопроса. Громов согласно кивнул головой.

— Мы, поди, одногодки? Мне двадцать седьмой. Вы говорите: все сам знаешь, сам знаешь. А ни шиша я не знаю, потому как дорожка моя особая, здесь по буеракам да лесосекам. Оно ведь как вышло, — вдруг вырвалось доверительно у хозяина и на мгновенье показалось, что истосковался по человеческому голосу этот недоверчивый и хмурый человек, а, может быть, и просто душой отошел. — Однажды захотелось нам с дружками выпить, мы и продали соседскую козу. Оно бы все ничего, да тут за Нюрку поговорил я с одним механиком, его в больницу увезли, а меня, значит, за хобот. Эх, так все это, ребята, — перебил он сам себя, то ли спохватившись, что перед чужими раскрылся, то ли сожалел о чем-то своем, невысказанном. — Вот рыбаки тут приезжали, у костра посидели, малость выпили, хорошо было! Разные идеи жизни говорили. Люблю я слушать. Своей-то, вроде, и нет у меня. Последний раз освободился, пришел домой, было женился, мать радовалась, на работу в колхоз пошел, да шибко темпераментный я к водке стал. Такая, значит, у меня систематика пошла.

— А жена?

— Ей што? Баба молодая. Хорошая баба была. Даже

на суд не пришла, да и правильно, может. Ну, ребята, кончай баланду травить, пустое все это, давай на боковую,— оборвал разговор хозяин.— Сейчас я вам сена притащу.— Он не торопясь вышел из избы, и, когда пахнуло из дверей влажным холодом, показалось ребятам, что за порогом притаилась недобрая настороженная тишина.

...Громову снился сон. Он идет по лесосеке, идет далеко, долго. И вдруг оказывается среди больших каменных домов. Людей нет, но Митька знает, что это город. Яркие огни слепят глаза, и в конце длинной широкой улицы кто-то стоит и, Митька знает, ждет его. Тот, ожидающий, улыбается, он оказывается Колькой, последним корешем, и манит, манит так медленно рукой.

Громов не хочет идти, он даже упирается ногами в землю, хватается руками за угол дома, но он гладкий, угол, пальцы срываются, и вот он уже не идет, а бежит за Колькой и не улицей, а каким-то коридором, впереди светлый зал с музыкой, смехом... Но только к залу надо через делянку пройти, они ее вырубили, это Митька хорошо помнит, а она снова заросла пихтой.

И за стволами прячутся те двое, его вчерашние гости. Это они виноваты, что поднялась тайга, и не дают рубить ее.

И в руках у Громова топор, Колька смеется, но Грач не хочет, ему «мокрое дело» ни к чему, а Колька ощерился широко, и он, оказывается, вовсе не Колька, а старик оперуполномоченный, Митька бросает топор. Откуда-то слышны выстрелы, и нет уже никакого города, а вокруг зона и окрики конвоя...

Громов проснулся. В углу на сене спят его гости. Он разыскал на столе окурок, чиркнул спичкой, вышел на крыльцо.

Луна высветила каждый пенек, черно блестели крыши пустых бараков. Недоброе беспокойство, забытый страх потно прилипли к коленям Громова. Он поежился, потом торошливо вернулся в избу и долго, беспривычно искал на никогда не запирающейся двери крючок.

Утром хозяин затопил печку, вскипятил чайник и только после этого разбудил своих гостей. Они потягивались на сене, курили, потом только вышли на крыльцо. Там во дворе лили друг другу ледяную воду и, раскрасневшиеся, весело и шумно грелись крепко заваренным чаем.

— А я сон плохой видел,— сообщил им хозяин. И, как будто чувствуя себя виноватым за то, что ему снятся плохие сны, добавил: — Да я ведь тоже в эти бабкины сказки не верю.

В избе еще было сумрачно, но по-утреннему видно.

— Скоро домой? — спросил Алексей у Громова, ставя на стол железную кружку. Он смотрел прямо в глаза этому, не такому уж, как казалось вечером, угрюому человеку. Алексею хотелось бы сказать ему что-то такое, что могло бы, наконец, объяснить Громову суть всего. Но он сам еще не умел говорить о жизни простыми, может быть, самыми важными словами. И когда-нибудь они обязательно придут к нему, немного позже, и, пожалуй, будет жаль, что тот, для кого они предназначены, никогда не услышит их.

Ребята встали. Алексей протянул руку.

— Спасибо, Дмитрий, нам пора! Ну, а бабу ты еще себе найдешь получше. Какие наши годы! — засмеялся он, и все они засмеялись весело и вышли на крыльцо, постояли немного. Потом, вскинув рюкзаки, ребята спустились по трем ступенькам и зашагали по заросшей дороге. Кто-то из них оглянулся, поднял приветственно руку, потом они исчезли в тумане, предвестнике солнечного дня.

Всякий раз, проводив своих редких гостей, Громов без сожаления возвращался к своей обычной жизни, долго перебирая в памяти подробности встречи, случайной и необязательной, как букет цветов на столе в его хибаре.

Но вот последнее время, после рыбаков, что ли, он стал замечать, что, проводив ночевщиков, не может сразу найти себе заделье, все смотрит, вроде бы ожидая их возврата, и день проходит в какой-то тоске, и даже рыба не клеет, и костер горит не так, как всегда.

Громов спустился с крыльца, пошел к реке. Там туман еще гуще. Ему подумалось, что ребята уже вышли на солнышко, к обеду, если повезет, доберутся до Таловки. А там и город! «Заочники», — вспомнилось ему. И он, продолжая с ними спор, подумал: «Ну, а какая разница между нами? По одним увалам ходим, одну и ту же тушенку едим».

И странная мысль забродила в его голове. С каждой минутой становилась она все убедительней. Черт с ним, с городом, а ведь Таловка — рукой подать! К вечеру, а то и раньше, если по трассе, можно быть там, ну, а к ночи он обратно вернется. Что там, часок-другой погулял и назад. У него есть настоящий вольный костюм. В клубе танцы, поди. Да если парни еще не улетели! Проститься, мол, пришел, граждане заочники, пожалуйте в чайную! В сундучке у Митьки кое-что припасено!

...В избу он вбежал, расстегивая на ходу робу, и через минуту, сбросив ее, уже вытаскивал из-под кровати фанерный сундучок.

На пол летят полотенце, несколько кусков мыла, новые брезентовые рукавицы. На самом дне лежит костюм. Суконный, синий в полоску. Он измят, потому что сундук мал, но зато настоящий, вольный! Даже пиджак застегивается на одну пуговицу.

Схватив по привычке вещмешок, Громов выскочил из избы, даже не прихлопнув дверь. Он почти бежал, а кто-то весело и громко нашептывал рядом: «Таловка, Таловка!», и туман, расступаясь, стал великодушно ему под ноги хрупкий папоротник, и рисовалась ему деревня, где он неизменно встретит ребят, а, может быть, еще и с девкой познакомится. И от мыслей этих шаги становились легче, еще быстрее, не чувствовалось пота, густо стекавшего по щекам.

Неожиданно зацепившись за что-то сапогом, Громов упал, уткнувшись лицом в травяную колкость. Он тут же вскочил, боясь, как бы не испачкался костюм. А у ног его, в осенней рыжести ржаво топорщился всеми своими ежами кусок колючей проволоки. Словно впервые видя его, Громов

сосредоточенно и долго рассматривал скрюченный никому не нужный кусок железа.

И непонятная ему самому оторопь, даже страх наваливались на него. Не начальства испугался он, все-таки у начальства, слава богу, авторитет и доверие он имеет. Дмитрий вдруг догадался, что, в сущности, ему некуда идти. Никто ведь не ждет, не обрадуется ему, Митьке-расконвойке, как тем двум его ночевщикам. И впервые за всю непутевую жизнь Громову вдруг захотелось, чтобы его ждали. Захотелось так, как хочется в летний полдень глотка студеной воды, захотелось, чтобы ждали, когда он возвращается с работы, когда он возвращался бы из отпуска.

Громов осмотрелся. Сквозь туман, как сквозь густые слезы, горели пятна бараков. Он медленно утер рукавом пиджака лицо, и светло-синий цвет потемнел.

В груди и горле давило, и только обжигающая махорочная горечь могла заглушить эту боль. Но второпях Громов забыл про кисет и теперь напрасно, в который раз, шарил по карманам нового вольного костюма.

— Такая-то положительная сторона дела получается, — неожиданно вслух сказал Громов. Покойная тишина была ему ответом.

---

---

## ПАПОРОТНИК

Если бы не красный цвет на перекрестке, мы бы так и не встретились вчера. Я вез домой новый книжный шкаф, а Зина бежала в столовую на обед.

— Из мебельного? — задержалась она около машины.

Я было высунулся из кабины, как загорелся зеленый.

— Как там Витька? — успел крикнуть я, а шофер уже включил скорость.

Книжный шкаф был очень хорош, тем более, что покупка оказалась совсем неплановой. В управлении за второй квартал выдали премию. Теперь полупустая третья комната в нашей квартире приобрела вполне приличный вид.

В отделе по этому поводу было много разговоров. Маша обещала даже прийти посмотреть. Она теперь сидит напротив меня, на Витькином месте.

А Зина не пришла к нам. Не пришла потому, что в субботу прилетел вертолет, но Витька не прилетел. Да она бы все равно не пришла. В последний раз она была у меня прошлым летом вместе со своей дочерью Галкой, почти ровесницей и подругой нашей Танюхи. Мы с ней провожали гостей до самого сквера на проспекте. Помню, Зина сказала:

— Наверное, все-таки уеду. Ну, сам подумай, разве можно так жить?

Что я мог ответить? Я смотрел на песок, на наших девочек, возвившихся в нем, но не смотрел ей в глаза.

— Надо что-то придумать,— сказал я. А она спросила:

— Зачем? — И, кажется, опять посмотрела на меня.

Только я снова смотрел на песок и видел ее ноги. У нее длинные крепкие ноги танцовщицы.

— Когда он приедет? — задал я глупый вопрос. Надо ведь было что-то говорить. Спросил, и на мгновение столкнулись наши взгляды, только на одно мгновение. Я не люблю смотреть в чужие глаза, иногда в них видишь то, о чем лучше и не догадываться.

Мимо скамейки, на которой мы сидели, проходили люди. Было начало лета. Первое осознанное для наших девочек лето. И вот, лазая где-то среди кустов, около самой ограды сквера, где-то среди бетонных плит, они разыскали веточку самого натурального папоротника. Вот уж я удивился!

— Смотри-ка,— показал Зине,— папоротник! Вокруг бетон, автобусы, пятый этаж и папоротник! Чудеса, а!

— Просто плохо пропалывают газоны, земля-то таеж-

ная, — утихомирила мой восторг Зина. — Вот для корреспондентов, что к нам за романтикой приезжают, это находка. Ну, а у того, кто здесь работает, от этой романтики и руки давно уже почернели.

Молоденькие, в три веточки клены уронили на асфальт вечерние аппликации-тени.

— Зачем так устроено в жизни, — сказал я, — папоротник вот совсем лишний в городе, а растет...

— Если бы все делалось так, как того хотим мы... — откликнулась Зина. Она была Витькиной женой. Мы с ним работали вместе, правда, недолго. Но не все оценивается отрезком времени. Она была Витькиной женой, поэтому я сказал:

— Надо что-то придумать...

→ Поздно, — встала Зина со скамьи и окликнула дочку. — Пора домой.

Кленовые тени уже погасли. День дожигал за рекой пихтовую сопку.

— Да, поздно, — согласился я. Глаза наши еще раз встретились. Мы знали, что говорим совершенно о другом. Но зачем уточнять? Она была Витькиной женой, а я его другом. Эта встреча случилась прошлым летом. А сейчас прямо из сквера в тайгу протянулась лыжня. Она скрывалась где-то далеко за рекой. Там, в той стороне, за Шаман-горой сейчас и Витька. Оттуда, кроме лыж, единственный путь — через небо. Поэтому, когда летит вертолет, я думаю, что, возможно, в нем Витька.

Откровенно признаться, в последнее время я реже вспоминаю о нем. Вот только когда проторахтит вертолет. Цифры, цифры — они действуют, как морфий. Сто двенадцать умножить на коэффициент ноль два, потом разложить на элементы... Целые книги цифр...

Виктор работал в плановом отделе дольше меня. Я, навичок, естественно, молча приглядывался, прислушивался, что называется, вживался. Сразу мне как-то не понравился этот тощий, худосочный криклиwyй парень. Четыре года

работы мастером сделали меня реалистом. А он носился уже тогда с идеей сквозного комплекса, разглагольствовал о творческом начале в нашей работе. В конце концов я не выдержал. Не люблю рисовки. Вещи надо называть своими именами. Арифмометр — это не рояль. Я так и сказал Витьке. Он сидел против меня за столом.

Слова мои не то что не понравились ему; насколько я успел заметить, они, видимо, заставили его внимательно приглядеться ко мне. Он поднял свою лобастую голову и, не скрываясь, так долго рассматривал меня, что я почувствовал, как смущение, обдав меня жаром, ядовитым детским румянцем окрасило мои щеки.

Чтобы скрыть свою растерянность, я постарался принять независимый вид. Но, очевидно, это так плохо получилось, что соседка моя, красивая белоголовая Маша, сочувственно улыбнулась. Я тогда совсем рассердился на этого романтика-теоретика, а он спокойно сказал:

— К сожалению, вы правы,—и снова принялся за свои расчеты.

Тогда я еще не обратил внимания на его глаза. Они у него были, на первый взгляд, совершенно обычными: серые, с редкими ресницами, но ведь было же в них то, что заставило вдруг меня покраснеть, а ведь я третий калач, так мне казалось во всяком случае.

Об этом я как-то напомнил Витьке, когда месяца три-четыре спустя, познакомившись семьями, мы стали просто ходить друг к другу в гости. Сойдясь, мы с ним спорили до хрипоты.

— Что такое теория Козырева? — ломали мы вместе головы. Но что такое жизнь, как оказалось потом, каждый решал сам.

Чуть ли не в свой первый приход к нам Витька увидел у меня первый том геологической энциклопедии, спросил:

— Так ты сумел достать?

Я взглянул на его руки, держащие книгу, и, кажется, понял, почему Маша, соседка моя по столу, сказала, что

мы оба ненормальные. В тот вечер, вернее, уже ночью, разогнала жена, иначе, кажется, мы бы так и не разошлись. Загадка Верхнеусинских Зубьев не давала Витьке покоя. Он был помешан на геологии еще больше меня. Это нас подружило. Теперь, как только мы встречались, даже на вечеринках, разговоры заходили об этом. Над нами дружески подсмеивались и за глаза, я знаю, рассказывали небылицы.

Если честно, то и тогда я подсознательно чувствовал что все, о чем мы мечтаем, лишь наша фантазия. Но очень уж было приятно после осточертевшей цифри, уединившись на кухне, без конца обсуждать варианты дальнейшей жизни.

У нас были общие планы, но как потом оказалось, беды каждый носил сам в себе. Однажды Витька не пришел на работу. Маша, что сидит теперь напротив меня и казалась тогда такой умницей, заявила, что ей вовсе ни к чему забивать голову дурацкими теориями и что вообще пора бы оглянуться на свой возраст...

А Витька, оказывается, ушел на участок проталкивать свой комплекс. Не видел я его больше месяца...

Однажды он ввалился к нам домой в зеленом прорабском плаще, с толстой полевой сумкой в руках и с комплексом в голове.

— А мне комплекс и на работе надоел,— откровенно признался я ему. И еще добавил, что терять сорок рублей из-за сомнительной идеи глупо.

И Витька признался, что комплекс — это действительно не совсем то, что ему надо, это всего-навсего ступенька, первая ступенька...

Я был рад, что он, наконец, становится взрослым. И опять, хотя значительно реже, Витька работал теперь по-сменно, мы стали собираться поболтать. Но все чаще получалось так, что мы больше молчали.

Однажды мы с ним гуляли со своими дочками в сквере. В газонах задыхались от жары изящные цветочки. И

даже вечер, что спустился с остробоких сопок из-за Усы-  
реки, не остудил воздуха.

— Смотри-ка, — Витька перегнулся через ограду газо-  
на, — смотри, — он протянул мне чахлую былинку, желто-  
зеленого цвета. От нее сыро пахнуло тайгой.

— Папоротник!

Витька спокойно, как будто то, что он говорит, ему уже  
надоело, сообщил:

— Завтра еду в Новокузнецк, в геологическое управле-  
ние.—Это не было для меня неожиданностью, я знал, зачем  
он едет, но все-таки задал один из тех вопросов, которые  
мы задаем, совершенно не зная к чему:

— А Эина?

— Она не возражает.

— Думаешь, так лучше? Извини, что я вмешиваюсь,  
но, может быть, у вас...

— Все выяснено, она не возражает.

— Ну, а с ней как? — показал я на топающих впереди  
нас девчушек. Теперь-то я понимаю, что спросил я больше  
для себя, что мне важен был его ответ.

— С ней как?.. — переспросил Витька. Но я ведь ви-  
дел, что ему даже тогда, когда кажется все уже решено, тя-  
желей всего ответить на этот вопрос. И потом он чувство-  
вал, что ответ мог значить для меня. Чувствовал, я знаю,  
потому что он вдруг сказал:

— Конечно не порядок это, я понимаю, но есть у че-  
ловека одна все-таки реальность существования.—И он вдруг  
выхватил у меня из рук веточку папоротника, которую я  
все еще держал.

— Зачем, скажи, зачем ему расти здесь? Все равно по-  
гибнет, но растет? Это наверное потому, что так должно  
быть. Понимаешь, долг перед жизнью, перед той землей, на  
которой росли предки этой былинки. Но мы-то люди! И  
неужели мы призваны всю жизнь, как вот этот папоротник  
здесь в газоне, делать дело, к которому не лежит душа? И  
все только потому, что так удобней и ты, выращивая семью,

как будто исполняешь свои прямые обязанности. А между тем есть один только долг у человека! И он растет этот долг, и плачу я по нему самый большой процент, уничтожая в себе то, что делает не похожим на миллионы других, что делает меня необходимым этим миллионам. Конечно, Зина не виновата, ну а дочка и вовсе, вот она-то, может быть, и поймет меня тогда, когда ей самой придется стоять с папоротником в руке.

Так он говорил первый и, наверное, последний раз в жизни, и я понял, что решил он твердо, раз и навсегда, как это он умел делать, но все-таки опять спросил:

— Может быть, еще раз все взвесить?

— Пятый год взвешиваю. Мне уже тридцать. Время истекает. Завтра еду в управление.

Все знакомые совершенно открыто называли Витьку идиотом. А когда я пытался что-то говорить о призвании, о мечте, о геологии, я замечал язвительные улыбки. И Маша ехидно заметила:

— Брось крутить мозги. По асфальту все-таки приятней ходить, чем по кочкам. Почему ты не уехал? Счастья не ищешь? Семья у тебя? А у него? Просто сбежал от Зинки, вот тебе и вся романтика.

Счастье?.. Ну в чем оно? Человек счастлив, когда он доволен жизнью, а доволен, когда он счастлив. Вот тут и попробуй-ка разберись...

Зина сказала, что Витька эгоист и хочет счастья только для себя. Ну, а если это призвание, и в нем он найдет свое счастье и счастье для них?

Я помню, как первый раз увидел Витьку в геологических сапогах. Он привез мне кусочек руды. Вместе с ним в квартиру вошел зеленый запах таежного папоротника. Витька торопился. Вертолет улетал через полчаса.

— У нас в партии освободилось место, — сказал он, когда, простившись с домашними, стоял уже на лестничной площадке. Тогда у меня еще не было новой квартиры, да и в отделе особенно упираться бы не стали. Но как уехать от

Танюшки? Не возьмешь же ее с собой в тайгу, а я очень привык к ней. Я видел, как не очень весело вышло все у Витьки с Зиной. Ну как испортить жизнь ребенку, она ведь не виновата, что в жизненной лотерее отцу выпал не тот билет... Да и потом, Витька до сих пор сидит на шурфах, сидит на одном месте. А ведь мечталось нам совсем о другом...

Зина как-то сказала:

— Я знаю, ты одобряешь Витьку, но зачем тогда заводить семью. Мы с Галкой, пожалуй, уедем. Надоело мне со свекровью в воспоминания играть.

— А если вместе поехать? — предложил я, а она как-то странно, словно по спине пробежал мороз, передернула плечами.

— Надо бы что-то придумать, — сказал я. — Понимаешь?

Зима к нам пришла сразу и вот уже кончилась. Сколько я цифр переписал за это время! А комплекс идет. Свидетельство тому — новый книжный шкаф у нас в комнате. Управлению дали премию за разработку и внедрение комплекса на участках.

...Ледоход уже прошел. Тонконогие кандыки высунули из-под мертвой травы свои фиолетовые кудри.

Через месяц горбатое черно-белое заречье станет зеленым. А папоротник? Неужели взойдет на газонах?.. Теперь уже скоро прилетит Витька. Он обязательно на денек, но прилетает перед летним поиском...

Вот и кончается обеденный перерыв. На столе ждет меня арифмометр. Перед крыльцом редко прыгает капель. Солнце еще не плавит воздух, он прохладен, как родник из-под кореньев старой ели. Пришел апрель.

Еще один год.

Через два мне будет тридцать...

## СОСЕДИ

Живет в Тополинске, на Зеленой Горке, старуха. Давно, долго живет. Михайловна — так ее зовут все от мала до велика. Просыпается рано. Тихо начало долгого старушечьего дня. Давно уже Михайловна просыпается без сожалений, а, наоборот, как будто бы даже с радостью.

— Слава тебе, господи, — привычно шепчет она в темный угол, стоя босиком около кровати в широкой исподней юбке, в которой спит зимой и летом.

— Слава тебе, господи, ночь прошла, — шепчет Михайловна, тыкая костяшками высохших пальцев в угловатые ключицы.

Низкий потолок тяжело лежит на маленьких окошках, и от этого кажется в избе душно. Но старуха не открывает дверь в сенки до тех пор, пока не уберет кровать, на которой непременно лежит, свернувшись в калач, серая поджарая кошка Танька.

— Ну, ну, гулена, — начинает с ней беззлобный разговор хозяйка, — подымайся, нет на тебя напасти ночью-то бродить, холера тебя разрази.

Спят они с Танькой в кухоньке с двумя крохотными окошечками, между которыми на простенке хрипят ходики, с привязанной к гире железкой, с замолчавшей давным-давно кукушкой.

В углу сундук с коваными ободранными ребрами — подарок покойной родительницы к ее, Михайловны, свадьбе. По ту сторону печки — горница. Там стоит деревянный красный диван, смастеренный еще самим стариком до рождения Дашки, меньшой дочери.

Когда Дашка с зятем жили здесь, на руднике, к бабке иногда приходила ночевать внучка, Дашкина дочка, и Михайловна стала ей постель на этом жестком и узком диване. Подушку при этом она брала с кровати, что стоит в уг-

лу горницы, накрытая вязаным покрывалом. С таким же рисунком скатерка на столе.

В горницу Михайловна ходит редко. Не приваживает туда и гостей. А больше все топчется на кухне среди горшков да ведер, разговаривая с Танькой. Живут они вдвоем давно, и, хотя не всегда угощают друг другу, обиды между ними не бывает.

Из всей родни у Михайловны — Дашка с внучкой. Но характер у дочери очень самостоятельный, и поэтому осталась старуха одна в той самой, на половину врытой в землю избе, что поставили на косогоре они с покойником Пантелейичем еще до войны, в год, когда в Тополинске открывали первую шахту.

Не узнать сейчас ни самой шахты, ни города, да и улица как-то расширилась, вроде с горы поспустилась. Стоят дома в четыре, а то и в шесть окон. И только мазаный домишко Михайловны притулился, ощетинившись боярышниковым кустом, у кособокой калитки, отгородившись от соседей по меже жестяной полынью, и не властно над ним время, как и над его хозяйствой, и живут они своей жизнью, невидимой, тихой, затаенной.

Михайловна выходит во двор не торопясь, не заглядывая за соседский штакетник. Там живут бывшие бригадники Пантелейича. Пока жив был старик, от имени товарищей все по президиумам сидел. Очень почитали его, уважительно и с Михайловной обращались.

А вот теперь того нет. Один взял да загородил весь свет новым домом. Прямо посреди огорода хоромы возвел, там, где лестница к водокачке была. Теперь через всю улицу, в обход, по водуходить приходится. Михайловна, правда, и не просится через новую-то ограду.

Безрукий Григорий, напарник вечный по шахте Пантелейчу, и того лучше удумал: привез лес и свалил прямо на ее прясло. Баню соображает строить. Да еще пришел к ней.

— Давай, — говорит, — Михайловна, у тебя в огороде поставим баньку. Старушка ты одинокая, много ли тебе

надо, а у нас при стольких-то ртах тесно. А в баньке мыться будешь, грехи отмывать, как в раю все равно. А то еще говорит: «Заняла бы ты мне деньжат. Все одно ведь без дела у тебя». Она и разговаривать не стала. Отказалася. Ругаться начал. Элементом обозвал. Разве на всех напасешься?

Только заметила старуха, что Григорий не успокоился на этом. По весне вдруг стал между копать. Михайловна взяла да тоже подрезала со своей стороны. Чуток самый, но подрезала. Пусть знают...

С детства запомнила старуха, что нет врага хуже соседа. Так всю жизнь сама прожила, тому и детей учила. Разъехались они у нее, поумирали. Кажется, одна только Дашка где-то живет. Да и та давно уже не подает весточки.

Двор у Михайловны тесный, маленький. Весь заложенный еще десять лет назад старыми досками, горелым кирпичом, ящиками, рассохшимися бочками. Все это собирается Михайловна продать. Первое время и покупатели находились, только старуха все продешевить боялась. А вот сейчас что-то и не идут.

В самом углу двора в тесной старой стайке ждет Михайловну коза Белка. Раньше там стояла корова, жили овцы, куры. Сама Михайловна молока не пьет, носит на продажу. Когда созревают овощи, ягоды, наступает для старухи страда. Бойко топоча, спускается Михайловна со своей горы, и каждый день между рабочими общежитиями, на завалинке, видно ее темную непокрытую голову.

Там знают ее все. Есть у старухи и постоянные покупатели. Знакомые и чужие одинаково кличут ее Михайловной, но никому она не делает скидки, со всех берет по своей твердой цене: и за стакан ягод, и за пучок лука. Умудряется она продавать все, вплоть до старых газет, что остались у нее от того времени, когда жила в доме еще Даша с зятем.

Ей лет шестьдесят, однако ходит Михайловна с непо-

крытой головой. Смоляные без единой сединки волосы собраны в тугой узел на затылке. Вся легкая, невысокая, и лицо такое маленькое, что вроде и морщинам негде на нем разместиться, и, наверное, поэтому кажется, что она вовсе не стареет. Шаг у нее мелкий, походка твердая. Мальчишки боятся Михайловну и все-таки в огороде у нее паюстят часто.

Огуречная грядка у Михайловны рядом со стайкой. Еще издали она замечает, как сильно перемяты зеленые плети, изломаны и потоптаны. Михайловна внимательно изучает каждый лист, а потом, когда на соседних дворах начинают хлопать двери, по улице разносятся ее проклятия:

— Чтоб у них кишки полопались, у сатанинских детей! — кричит она. — Только поглядите, ни одной лунки не обошли. — Соседи сочувственно ахают, но тотчас какая-нибудь попадает старухе на язык.

— Это дело без твоего сопляка, соседушка, не обошлось! Он, варнак, давно бесчинствует, на той неделе с чердака сгоняла. А что ему, если родители поважают! Может, и сами с ними заодно!

Когда Михайловна расходилась, уему ей не было, это уже все знали и поэтому отмалчивались. А она не умолкала.

— А ты, Юрка, часом не был у меня ночью в гостях? — спрашивала Михайловна у пастуха, длиннорукого конопатого парнишки.

— Я по девкам еще не кожу, — улыбается тот под дружный хохот баб. — А ты, бабушка, признайся, — прищуривается мальчишка, — опять молоко, что мне наливаля, водой развел? Я ведь не буду твою козу пасти!

— Ладно, ладно, — стихает Михайловна. Она знает, что на улице любят посудачить на эту тему. — Ему все мало, — обращается она за поддержкой к женщинам, но те осуждающие молчат.

Юрка — сирота, живет у чужой бабки и уже несколько

лет подряд пасет уличное стадо. За это ему не только платят деньгами, но и поочередно кормят всей улицей. Только к Михайловне мальчишка-пастушонок ходить не любит, сама не жирно ест, да и его разведенным молоком потчует.

Проводив козу в стадо, Михайловна возвращается к своей огуречной грядке. Долго возится, поправляет помятые листья, заравнивает следы, поднимает плети. Потом завтракает оставшейся с вечера картошкой с чаем и опять идет в огород. На этот раз косить траву на межах.

Травы у нее накошено много, почти целый поднавес, он примыкает прямо к стенке дома, но старуха боится: не успеет — соседи все до травинки подберут, не поделятся. В самом конце огорода она видит Верку, внучку безрукого Григория.

— Ты, бессовестная, чего тут потеряла? — запыхавшись от ходьбы в гору, кричит Михайловна.

— Я, бабушка Михайловна, цветы рву, — показывает букетик девочка.

— Знаю я ваши цветы, — размахивает палкой старуха. — Матери-то некогда закликать. Поди, все красится. Я вот тебя сейчас... Чтоб знала место!

Трудно одной за всем усмотреть. Умается за день Михайловна, некому ее пожалеть, некому посочувствовать. Да только привыкла старуха. Ты только пожалей, так тебя сразу обобрать норовят. Вот так ведь было и с Дашкой. Пожалела, думала: все-таки дочь. А она еще старыми тыщу как взяла, так и с концом. Еще и посмеивается: «Эх, будем считать подарком от бабушки внучке!» Много их на готовые подарки найдется! Вот умрет она, и все забирайте тогда!

...Дожди начались в конце августа. Холодные, настоящие осенние дожди. Уголь привезти Михайловна не успела. Сосед пообещал помочь, талоны взял, да что-то молчит. В избе холодно. Только и тепла, когда варит обед. Но старуха не сидит в доме. Она торопко шаркает старыми, еще

довоенными калошами во двор и со двора, находя себе бесконечную работу.

В маленький домишко ночь приходит рано. У Михайловны стоит счетчик, и она свет зря не жжет. А за окошком дико воет ветер, стучит в окно дождь, и кошка Танька примостилась у самой заслонки уже потухшей — много ли дровами натопишь — печи.

Сны видят Михайловна путаные, длинные, любит к слушаю рассказать их и толковать. Получается это у нее так складно, так правдоподобно, что соседки частенько прибегают посоветоваться, а между собой зовут ее колдуньей и говорят, что у нее тяжелый глаз.

— Помру я скоро, — объявила однажды Михайловна бабам, собравшимся в один из осенних дней у нее на кухне. — Привиделась мне белая дорога, и по ней я иду легко, легко и далеко! Иду. Иду и знаю, рядом Пантелеич. Не вижу, а знаю. Думаю, ведь покойник. А мне что-то радостно так. И все он зовет: «Михайловна, Михайловна!»

Разговор этот был в один из дождливых серых вечеров, в ту же ночь сгорела у Михайловны изба. Загорелось хламье на чердаке от старых электропроводов. Старуху едва живую вытащили из огня. Увезли в больницу, а изба сгорела дотла.

Прошла неделя. Михайловна, она только от дыма угoreла и испугаласьшибко, стала отходить потихоньку. Ее перевели уже в угловую палату, там собирались все выздоравливающие, и было в палате этой всегда шумно и людно, словно на вокзале в ожидании поезда. Только старуха держалась как-то особняком.

Ничего у нее не болело, ожогов не было, а вот силы все не возвращались к ней, и ни к чему она не прислушивалась, не вступала в разговоры. Лежала молча — маленький неподвижный комочек — на широкой больничной койке. На вопросы врача отвечала внятно, но тут же умолкала. Словно и не о ней самой речь шла, словно она знает такое, отчего

ей все на свете теперь ясно и понятно и все известно наперед, на всю остатнюю жизнь.

Ходить проводывать ее было некому. Соседки первые дни наведывались, убедились, что жива, на том и успокоились. Дела свои ведь не ждут, а в больницу за несколько верст не находишься.

Сосед Григорий пришел к ней в воскресенье, привнес банку домашнего варенья, пельменей, бутылку газировки. Несмотря на то, что Михайловна была ходячей больной, его пропустили в палату, выдали белый халат и предупредили, что разговаривать с ней надо осторожно.

Это предупреждение совсем выбило старика из колеи. Он-то думал поговорить с Михайловной о деле, а как тут быть, все не мог взять в толк. Широкий, низкорослый, с пустым рукавом, отчего халат с этого плеча все спадал, и стариk не мог никак его приспособить. Григорий зашел в палату и громко поздоровался. Потом, видимо, вспомнив наказ, прикрыл рот рукавом и уже на цыпочках пошел к койке Михайловны, по пути снова уронив на пол халат.

Когда он, наконец, добрался до ее койки и присел на краешек, лицо его с частыми синими крапинками горело оранжево и горячо.

— Вот дела-то, соседушка, — начал он разговор. — Ты, значит, не тужи, тебе расстраиваться нельзя. Да и чего тужить! Подумаешь, богатство! Главное здоровье. Скоро, значит, поправишься!

А Михайловна тихо, даже как-то торжественно сказала:

— Сон я верно разгадала. Дашке бы наказать, какие тряпки остались, чтоб забрала. А то ведь на чужое много хозяев.

— Да не сумлевайся, — успокаивает старик. — Лежи, значит. Мы ей отписали все. Я ведь вот по делу, Михайловна, — наконец решился он. — Мы тут улицей кумекали, значит. Ты ведь, считай, сирота, верно? Ну, где она, Дашка? Отсюда выйдешь, где-то ведь и жить надо. Не птица же, за море не улетишь, а зима-то вот и расстелит-

ся. Так, может, у тебя деньги-то какие-нибудь есть, ну на книжке... Дело, значит, такое... — стариk говорит все тише, нерешительнее.

— Креста на тебе нет, Григорий, — прерывает Михайловна, — какие же такие у меня деньги, а? И вдруг ей так стало жалко себя, что слезы сами собой потекли.

— Будя, старая, ну чего ты? — испугался стариk. — Ты сперва послухай...

Но больная отвернулась к стенке и плакала уже на взрыд. Заглянувшая в палату молоденькая сестрица почти выгнала Григория.

— Вас же, дедушка, предупреждали!

— Так ведь я что... я ведь ничего, — только и сумел в свое оправдание сказать Григорий.

Больше Михайловну никто не навещал. От Дашки писем не было, она и не ждала. В бессонные ночи рассудила однако, что уедет к дочке, на домишко у нее деньжат найдется. Страховку еще должна получить, да и так по мелочам...

Осень словно спохватилась и догревала землю светлым и теплым разноцветьем коротких дней. Все горы вокруг Тополинска чернели голыми пашнями. Последнюю картошку возили с полей, а у Михайловны огород был совсем не тронут. Но думала она об этом как-то отчужденно, смиренно.

На автобусе ее подвезли бесплатно от самой больницы. Она долго отдыхала, прежде чем начать подниматься в гору по своей улице. Огромный соседский дом посреди огорода загораживал от глаз ее пожарище, и Михайловна должна была пройти почти в конец улицы, чтобы подняться к своему переулку. И вот, наконец, в старухе что-то проснулось. Пелена будто сошла с глаз. Она подумала, что ведь идти-то ей вовсе и некуда, она даже остановилась от страшной ясности этой простой мысли.

Но тут же вспомнилась коза Белка, и прямо тоскливая, как по родному человеку, боль разлуки толкнула старуху.

Она зашаркала по мягкоте проулочной пыли, шаг ее стал опять быстрым и твердым. Сейчас она гадала, кто же из соседей прибрал Белку и гоняют ли ее в стадо.

Издали она услышала стук топоров. «У Григория», — подумалось ей. Топоров было не один, а два, три, а, может быть, и все пять. Подошла ближе и обомлела: плотники работали на ее усадьбе.

Григорий разобрал прясло и теперь рубил баню, это она хорошо видела. Ноги, сразу отяжелевшие, не хотели слушаться, и она медленно, так что ее сразу и не заметили работники, подошла.

— Что это вы, любезные соседушки, али совсем скхорнили меня? — закричала Михайловна. Визгливый голос ее враз остановил стук топоров. Чуть подальше пожарища — от старого дома не осталось теперь и печки — поднялись под стропила стены небольшого сруба.

— Михайловна!

— Воскресла, невеста!

— Эх, не вовремя! — посетовал кто-то.

Старики плотники окружили старуху, а та оглядывалась, все оглядывалась, утирая слезы. В конце огорода, как ни в чем не бывало, гуляла Белка. Появление хозяйки на нее не произвело никакого впечатления.

— Что же такое? Куда меня-то теперь?

— Это, понимаешь, — заговорил Григорий, — значит, вот и баньку пришлось в дело пустить. Денег не хватало, словом. По дворам мы тут собирали, да вот тебе вырешили новый дом соорудить, так значит. Отстроим, ну и живи. На одной улке живем, не чужие. — Он хотел что-то еще сказать, но, увидев, как старуха вот-вот ударится в слезы, торопливо затянулся папиросой и сказал:

— Ну, пенсионная рота, кончай ночевать!

Топоры зазвенели вперебой, деловито, бойко. Белая светлая щепа осенними листьями мягко падала на землю.

## „...АЙДА, ПАПА, АЙДА!“

— Какой же ты пьяница? Пьяница — это когда ты ругаешься! Когда ты пьяница, я не люблю тебя. А когда ты не пьяница, ты хороший и я люблю тебя. — Так рассуждал Пашка. А я не знал, смеяться ли его мудрости или же плакать...

Мы стояли с ним на бугре, держась за руки. Непременно, когда мы с ним куда-нибудь идем, он держится за мою руку. Под ногами у нас был осенний травяной зеленый ежик. А в руках у Пашки чудо нынешней доброй осени — во второй раз расцветшие огоньки, те самые, что, распускаясь в конце мая, к июню застилают окрестные косогоры оранжево-желтым покрывалом.

Пашка задрал головенку и подмигнул мне. Это у нас с ним условный сигнал: «Все в порядке!» Кивком я подтвердил ему догадку.

Ее, Пашкиной матери, — так я незаметно для себя стал называть жену после рождения сына — с нами нет. Она до самозабвения любит этого лопоухого мальчишку, но, к сожалению, у нее всегдашие нескончаемые дела в городе. И тем не менее нам не скучно. Пашка нет-нет да и вспомнит о ней, кстати, и цветы уже припасены для нее.

— Обрадуем маму, да? — любуясь букетиком, в который раз пытает он меня. Она очень любит цветы. А я об этом и не подозревал. То есть, было время, я не знал, и стало мне это известно совершенно случайно. Это еще в ту пору, когда Пашка не умел даже смеяться по-человечески, а просто лежал себе в цинковой ванночке, заменявшей ему кровать.

Я засиделся над очередным проектом, — подрабатывал в одной организации, — когда однажды она вернулась с ночной смены с букетом цветов.

Я ни разу в жизни не дарил ей цветы, и мы, так по крайней мере мне казалось, превосходно обходились без

них. Поэтому, я помню, не без иронии высказался по поводу существования в наше время галантных рыцарей.

— Ах, как я люблю, когда дарят мне цветы,— ответила мать Пашки, и на ее лице я разглядел такую счастливую улыбку, что мне стало не по себе. Вдобавок, она жалела меня, я это ясно видел, как и то, что она готова пойти на все, только бы оградить, сберечь свою радость.

Мы ходили с ней вместе по магазинам и порознь — на службу. По утрам я надевал свежие рубашки, выглаженные ею, по воскресеньям делали визиты родственникам. Там, вроде бы, радостно забавлялись Пашкой, но когда я видел, как дед неумело подбрасывает внука, мне казалось, что он улыбается виновато, даже сочувственно.

По дороге со службы домой я выбирал пути подлиннее.

Я вырос на этих улицах. Незаметно — я ведь тоже не замечал, как расту, — они меняли свой облик, меняли деревянные в палисадниках домики на многооконные, многоэтажные каменные, асфальтом одевая пыльную дорогу. И только тополя, как и много лет назад, высоко стояли длинными рядами, засыпая теперь уже асфальт и трамвайную линию белым пухом.

В местной газете мне попались стихи, которые начинались словами: «Поднялась июльская пурга, ветер тополиный снег метет», и подумалось мне, что вот какой-то мальчишка — а что это мальчишка, я почему-то не сомневался — удивленно и радостно вышел на дорогу жизни и торопится всех оповестить об этом, торопится пережить каждый свой день, не зная, не ведая, что лучшие дни свои мы всегда оставляем в прошлом.

У Пашки прорезался еще один зуб, и мы с женой отметили это событие небольшой вечеринкой, на которой собрались только близкие друзья, а на другой день я уехал в командировку.

Когда я вернулся, всего через три дня, дома меня встретили бабушка и чумазый карапуз, важно и длинно произносивший слово п-а-п-а. Мать Пашки была где-то по

делам и пришла уже, когда в своей ванночке крепко посапывал курносый человек, которому только предстояло сдаться в жизни самый первый шаг.

А я думал о том, что самое важное все-таки не первый, а главный шаг в жизни. Но как определить, который главный?

И опять я бродил по городу, и где-то, может быть, в одном из тех переулков, по которому босиком в детстве мы гоняли старую шапку, набитую травой, заменившую нам футбольный мяч, мне повстречалась моя надежда и, как вдруг оказалось, настоящая любовь. Почему же надежда? Наверное, потому, что она постоянно так нужна человеку, как зеленому лугу голубое небо. А небо ведь нередко бывает и серым.

Мать Пашки не заметила перемены в моем настроении. Думаю, потому, что были мы с ней в то время просто-напросто двое молодых, живущих, так мне казалось, отдельной друг от друга жизнью. И тем не менее я и сейчас задаюсь вопросом: почему чувство вины моей, которое необходимо должно было возникать всякий раз, когда яозвращался в дом, почему же это чувство странным образом не преследовало меня?

...Первый раз мы поцеловались с ней, а не с матерью Пашки, неожиданно. Мы искали друг друга, но разве искаль и таить надежду не одно и то же?

Мы встречались на шахте почти каждый день, здоровались, разговаривали. Но ни она, ни я еще не подозревали, что с каждым днем, каждым часом обкрадывали себя потому, что у жизни всему отведен строгий срок.

И не успели глаза мои еще насмотреться на ее непринично родное лицо, как уже на ресницах, прикрывающих тихой глубины карие глаза, заблестели прощальные слезы.

Я сейчас думаю, сколько же на земле растеряно добра только оттого, что не умеем мы сразу отличить сущее от игры. Даже слова, те самые, которые теперь вот в пору житейской слякоти утешают издалека, воспринимались

мною отстраненно и любопытно. Может быть, в силу их непривычного звучания для моего слуха и незнакомой тревоги для моего сердца?

— У меня в памяти навсегда останутся твои руки, твои такие теплые и чуткие пальцы, — говорила она. А я неожиданно припомнил слова Пашкиной матери «Ну почему ты своими руками умеешь делать только больно?»

Я не знал, что любовь и нелюбовь говорят на схожем языке. Отличие самих слов в том: тебе или не тебе адресуются они. Она, не слыша мыслей моих, прижимала мои руки к груди. И пальцы мои принимали тревожный ток ее крови.

Улицы, чьи углы, чьи камни я знал, словно лица своих близких, как бескорыстные друзья, для которых твоя радость их собственная, дарили нам подарки, щедро раскрывали свои маленькие тайны. В кустах акаций, желтеющих невдалеке от остановки, мы обнаружили старую скамью. Сбереженная от сторонних глаз, она всегда была приветливо пуста к нашему приходу.

Удивительно, но самым надежным укрытием для нас стала наглоухо заколоченная подъездная дверь. Мы поднимались всего на одну ступеньку. Потрескавшиеся доски, шершавые от дождя и ветра, подносили нам свои некрашеные бока, и мы стояли так, глядя в глаза друг друга, а разговаривали за нас руки и губы.

Это было совсем рядом с ее домом, на очень оживленном месте, но почему-то прохожие предпочитали другую сторону улицы. А может быть, мы просто не замечали их? Время это отмерялось только для нас, и, наконец, слово «любимый» я не услышал, а почувствовал на ее губах у этой двери в морозных сумерках, звенящих отдаленным трамваем.

— Это правда, говорят, что ты отказался доделывать с Васильевым ваше <sup>предложение</sup>? — спросила она меня однажды, когда мы, как обычно, повстречались в коридоре быткомбината. Я работал в отделе главного механика шах-

ты, а она библиотекарем в нашей технической библиотеке и по совместительству секретарем БРИЗа.

— Мне надоело изобретать велосипед. — Я не врал, я говорил правду. Правду для нее, но еще больше для себя. Я хотел маленького, но настоящего дела. Потому что мне оказалась вдруг необходима слава. Пусть самая пустяшная, местная, но слава. Для того это требовалось, чтобы она гордилась мною. Мне нестерпимо хотелось этого.

— А ты свой велосипед изобрести, — сказала она. — У тебя обязательно должно получиться...

Я взял ее за руки и поцеловал. Это вышло само собой. И только потом сообразил оглянуться. Резко так опустил ее руку и оглянулся. Длинный полутемный коридор был пуст. Все это длилось мгновение. Но разве не из этих лоскутков времени соткана вся наша жизнь? По коридору, часто стуча каблуками, недвижно вытянув вдоль тела руки, склонив вперед и чуть к правому плечу голову, уходила она от меня. Вообще-то это была ее обычная манера ходить, но почему-то в тот миг я впервые подумал о том, что именно так уйдет она от меня однажды, затем, чтобы никогда не вернуться, и стало мне тоскливо.

Бессонница ночей, что у нас были так редки, как дожди в декабре, освещала дни щедростью и великодушием счастья. И во мне словно пробудилось что-то. Я вдруг осознал, что обиды не всегда делаются с умыслом.

У нас не было дома, и малогостеприимные квартиры знакомых были тем кратковременным пристанищем, куда мы забегали на часок, пугая своей радостью хозяев, и откуда весело уходили, оставив их в осуждающем недоумении, уходили к своей скамейке, своей двери. Я и на шахту, на работу, в трамвае с утренними сердитыми пассажирами ехал теперь песенным и добрым. Может быть, это всего лишь совпадение, может быть, теперь я, как скряга копейки, складываю все мало-мальски дорогое в сундук радостного прошлого, но тем не менее у меня возникла мысль по

поводу организации демонтажа комбайновой лавы, и главный инженер одобрительно отнесся к ней.

А тут и вовсе меня осенило. Я сконструировал электрическую схему автоматического перевода рельсовых стрелок. Любой машинист подземного электровоза поймет, что это такое. Удивительно, но идея и ее реализация шли впритык. На все это ушло недели две-три, и на одном из техсоветов было решено изготовить в меҳзехе опытный образец.

Наша многотиражка «Шахтер» поместила статью: «Творческие горизонты инженера». А уж когда создали целую бригаду по внедрению автоматики, я понял: это слава, та, которую я так искал в те дни.

— Я же говорила, что ты можешь, — сказала мне она однажды, когда мы пришли к своей скамейке.

— Я просто делаю то, что должен делать человек, если у него голова на плечах, — сказал я, попытавшись произнести это как можно безразличнее. И еще мне тогда показалось, что она по-настоящему гордится мною, гордится моей маленькой победой. И все это от чувства единения, того самого, которое приносит человеку любовь.

В столовой, по вечерам громко именуемой «кафе» лишь потому, что вечерами там включается огромный музыкальный ящик, оглушающий посетителей, мы оказались случайно. Зашли перекусить, устав колесить по городу.

— Выпьем шампанского? — предложил я.

— Вообще-то лучше завтра, — сказала она. — Завтра у меня день рождения.

Я, недоумевая, уставился на нее. Подумать только, как мы мало знаем друг друга!

Она опустила свою ладонь на мою руку, а я смотрел в ее глаза. В них можно было смотреть бесконечно. Чем больше глядишь, тем они сильнее светят в глубине. Но когда я чуть, самую малость, непроизвольно вздрогнул, почувствовав шершавую нежность ее ладошки (от домашней работы — сообразил я), свет этот угас. Она насторожилась, видимо, решив, что я просто стесняюсь. Мы сидели в

кафе, вокруг шумело застолье. Она не поняла меня, и я был рад этому, потому что тонкая колкость крошечных мозолей на ее узкой ладони затревожила неожиданным укором.

И все-таки грусть быстро отошла, хотя не забылась, и праздник — только наш праздник — укрыл наши тревоги.

Недели через две однажды утром она не пришла на работу. Только через три дня я увидел ее вновь и испугался. Лицо, от природы бледное, словно окаменело от скрытой, внутренней боли.

— Славка — тридцать восемь и пять! — сказала она. Славка — ее сын. Наш мир был мал, но прекрасен. Однако жить в нем становилось тесно, и мы непривычно должны были прийти к людям. Оказывается, мы не могли без них. Иначе перед чертой, ограждающей нашу любовь, должна была встать неотвратная и безобразная ложь.

Что нам мешало перейти эту черту? Что нас бросало опять к нашей двери, где руки сплетались теперь уже в прощании, с которым мы так не хотели примиряться, а оно лицами бесконечных прохожих, звонками проезжающих трамваев требовательно напоминало о себе.

Дома по ночам, проснувшись, я подолгу глядел на спящих Пашку и его мать. В тишине их беспечного сна беспокойно настигала меня мысль о Славке. Странным образом как-то я пытался соединить в сознании своем образы мальчишек, но физически ощущимая кощунственность этой мысли била по щекам холодным потом растерянности.

— Как вам не стыдно, — выговаривала нам Женя Светлакова, наша сотрудница и милая женщина. — У вас же дети! Чего уж людей смешить!

Видимо, на самом деле смешно было смотреть со стороны на тридцатилетних чудаков, идущих по улице, взявшись за руки. Любимые улицы стали под ноги шуршание осенних листьев. Красота эта жила в нас, с нами, но не могла уже радовать беспредельно. Это как в песне: чтобы пропеть ее по-настоящему, запеть надо свободно, во весь голос, а иначе какая же это песня?!

— Знаешь, милый, — она так и сказала: милый, — нам не может быть хорошо, если им плохо.

Я затащил ее в магазин, чтобы купить Пашке игрушку.

— Ты его любишь? — спросила она.

— Так же, как тебя, — выпалил я не раздумывая, а она тихо, но строго спросила: «Зачем ты так?» После этого она и сказала, я видел, что давно ее это мучает, но она все страшилась обидеть меня, после этого она и сказала, как зачитала приговор: «Мы же сильные с тобой люди», — и я услышал, всем своим существом услышал, что она пыталась улыбнуться. Хорошо, что был вечер, густой чернильный зимний вечер и она не могла видеть, как совсем не по-мужски заблестели мои глаза. Мы больше молчали в тот вечер. Молча и расстались.

...Однажды мать Пашки разговаривала на кухне с тещей, и если прислушаться, то все можно было услышать из моей комнатушки. И еще мать Пашки сказала: «Это мое дело, понимаешь, мое. Я ему верю, — так она и заявила тогда ей, — потому что он очень нужен Пашке. Мальчишка шага без него не делает. А он-то, он-то, попробуй отними у него Пашку. Да и видно, совсем он другой теперь. Я верю ему, понимаешь. Хоть он и молчит больше. Верю».

Теща назвала ее дурой. А я удивился тогда. Честное слово, удивился.

Я думаю все, как это странно: года идут, мы только начинаем с ней узнавать друг друга, и не случись той осени, вряд ли бы мы втроем дожили до этой. Такая она, оказывается, непонятная, такая странная жизнь. Благодарно, легко, без тоски вспоминаю я ту осень. Теперь я уже хорошо усвоил, что нелюбовь и любовь говорят на одном языке. И разница в том, что одна ослепляет, а другая озаряет душу светом человеческого всепонимания и прощения.

Мы с матерью Пашки долго после этого шли навстречу друг другу. И никто не скажет с уверенностью, сойдемся ли мы окончательно. Хотя Пашка, сам того не ведая, ухвативши нас ручонками, ведет по жизненной тропе к этому.

Я совсем плохо, оказывается, знаю его мать. Недавно ее губы неожиданно открылись навстречу мне не испытанный нами еще ни разу в жизни откровенной радостью. Удивленный, я печально подумал, что прошлое вечно в нас, а у нас еще его и не было, прошлого! Она очень чуткий человек, мать Пашки, сразу приметила мое колебание:

— Чего ты? — спросила она и засмеялась тихо и, как мне показалось, счастливо. И еще мне показалось, что наше прошлое, может быть, в нашем будущем?

Мы с Пашкой стоим на пегом бугре подле старой бересклета. Обожженная молнией, она черна, и даже воронье с обидным карканьем облетает ее. И только в траве, что похожухла у самого корневища, торчит маленькая, всего в три желтеньких листочка, веточка, крошечная плоть старого березового корня. Она без сожаления, с радостью вслушивается в осенние вздохи ветра, частыми поклонами приветствуя начинающуюся жизнь...

— Айда, папа! Айда! — тянет меня Пашка. — Айда! Что ли ты уснул? — он хитровато смеется. — Вот мама цветам-огонькам обрадуется. Скажет: «И где же вы их, лапотки мои, отыскали, где они прятались все лето». Да, пап?

Мы стоим с ним, держась за руки. Маленький человечек, он весь в весне, и осень для него — это обыкновенное ее продолжение.

---

## У „ДОБРОГО ПУТИ“

### 1

— Никого нет у «Доброго пути»? — спрашивает кондукторша, когда автобус, сбавляя скорость, приближается к очередной остановке, обозначенной на бетонной доске литьей чугунной вязью слов: «Доброго пути». — Поехали! Тогда

ля, — громко, через весь автобус со своего сиденья обращается она к шоферу. И никому, а затем лишь, что не говорить она не может, уже в полголоса ворчит: — Теперь тут редкий сойдет. Летом, тогда прут. Людям по делам не уехать. А они все на речку. Вроде и не работают, что ли? Набьется, что тебе селедок в бочке, с гитарами, им хоть бы что. А людям по делу не уехать, и за проезд с них выбей-ка...

Дорога выгибается вдоль самого берега Томи. Будничный предвечерний рейс. Пассажиры в проходе не толпятся, маршрут загородный, всякий занят своими мыслями, кое-кто из попутчиков тихо переговаривается.

Автобус, проехав немного за «Добрый путь», останавливается неожиданно возле стоящего на обочине «Запорожца» с открытым мотором, в котором копается мужчина, видимо, водитель.

— Чего это? — удивляется кондукторша, когда автобус, резко затормозив, стал. — Чегб их тут подбирать, ездют, торопятся, — ворчит она, а в это время в раме передней двери показалась малюсенькая в голубом плюшевом капюшоне девочка, и следом за ней женщина. Росту небольшого, в пальто, простоволосая. Садится на одиночное сиденье, что у самой двери, берет девочку на колени, при этом резким движением головы она все пытается откинуть с лица густые пряди прямых волос, но всякий раз, когда она это делает, только на мгновение открывается ее выпуклый безбровый лоб, и опять сыплется соломенный цвет, укрывая почти все лицо.

— Здравствуй, Толя! Ну и встреча!? — явно чувствуя неловкость, растерянно удивляется женщина, когда, наконец, устроившись поудобнее с девочкой, она уже спокойно рукой отводит со щеки волосы.

— Здравствуй! — шофер не оглядывается, пристально всматривается в дорогу. — Как живется? — после некоторого молчания спрашивает он, все не спуская глаз с дороги.

— А чего нам! — женщина проводит рукой по детской

головке, но капор не снимает. — Чего нам сделается? Вот сейчас я, Толя, в отпуске. В яслях карантин...

Мы в Кузнецк к тетке ездили, хотели быстрей добраться, вот и прицепились к частнику, а он возьми да и сломайся, — она тоненько хохотнула. — Возле «Доброго пути» возьми и стань... Думала, что до ночи сидеть, а тут вот ты. Теперь на этом рейсе, да? А мы вот с дочкой. Хотела было к матери в Свердловск отвезти, а потом раздумала. По прошу отпуск, решила, погода хорошая, а мне по графику все равно в ноябре, какая разница — сентябрь, ноябрь, не должны бы отказать. Начальник и правда без слов подписал. Вот мы и катаемся.

На одном дыхании все это выпалила женщина. Растерянная улыбка так и не сходила с ее лица. А шофер все внимательно глядел вперед.

— Соседка поутихла? — спросил он.

— Давно! — обрадованно сообщила женщина. — Мы уж теперь и дружим. Она и с Танюшкой другой раз останется.

Девочка, видимо, устала. Она терла кулачками глаза, нос, раз-другой всхлипнула. Женщина забеспокоилась. Прижала ее к груди, склонив над ней голову и занавесила от стороннего глаза своими волосами. Тихонько заприговаривала: — Баю-баю-бай, спи, скоро, скоро будем дома...

— Не болеет? — спросил шофер.

— Толя! — окликнула его кондукторша. — Не будем заезжать в столовку. Лучше быстрей назад. Все равно выручке уже не бывать сегодня...

— А когда у вас обед, Толя? — спросила женщина, и ему, видимо, тоже передалась ее неловкость. Он впервые в полоборота обернулся.

— Вообще-то в девять. Но кто тут режим соблюдает...

— Зинка-то как? — спросила женщина и просто спросила, но знала, что обоим им этот вопрос не очень по душе, а не спросить она не могла.

— А что ей сделается? В четверг пересменок, кар-

тошку поедем к теще копать. Зинка, она и есть Зинка. Так и не унимается. — Он говорит вроде бы с гордостью, а, может, просто рисуется перед женщиной. Она сочувствует:

— Картошку-то давно пора копать, мы с соседкой уже убрали. Тридцать ведер я накопала, прямо как поросыта, такая картошка.

Девочка уснула. Умолкла и женщина.

— Ты нас у того дома высади, Толя, — обращается она к шоферу, явно делая над собой усилие, прежде чем произнести его имя.

— Посидели бы, куда спешить! Раз в отпуске, — говорит шофер, не поворачивая головы. — На последнем рейсе бы и добросил до дома.

— Что ты? — пугается женщина. — И так уже запоздали. Давно спать нам пора. Ты высади. Сейчас «восьмерка» с шахты пойдет, вот мы к самому дому и подкатим. Уснула, — это она уже о девочке говорит. — Намаялась. Не любит одеваться, и все. Так бы голышом целый день, — тонкий смешок звучит ласково. Это она не кому-то говорит, это она разговаривает сама с собой.

Автобус притормаживает. Женщина медленно, осторожно спускается на землю. Ей тяжело и неловко со спящей девочкой на руках. Шофер глядит в зеркальный отражатель. Женщина кивает ему. Кивает и он, руки у него лежат на руле. Автобус трогается. И, мигнув красным огоньком, исчезает.

Нести спящую девочку трудно. Женщина останавливается, перекладывает свою ношу с одной руки на другую. Девочка во сне громко вздыхает. Женщина идет по проулку между маленькими домиками. Им надо выйти к другому шоссе, которое ведет с шахты в поселок. На остановке стоят несколько ожидающих. Женщина обрадовалась, значит автобус не прошел. Она снова перекладывает девочку и вместе со всеми выжидательно смотрит в темноту.

— Смолина, ты откуда? — окликает ее женщина с огромной хозяйственной сумкой в руках. Это напарница по

смене в ламповой.— Как отдохаешь? Спит, уморилась? — показала она на девочку.— Я вот в город ездила, выходная, по магазинам пробежала.

— А мы в Кузнецк, к тетке ездили, — объяснила Смолина.

— А у тебя там тетка? — удивилась женщина.

— Двоюродная! — Смолина, осторожно подкинула девочку, перехватила руками.— Оттянула все руки, не гляди что мала.— Гордость слышится в ее словах. И напарница, заглянув под капор, в тон заговорила:

— Вовсе она немаленькая — булочка прямо! Честное слово! Какая она у тебя, Томка, хорошенская, ну, прямо картинка!

— Ну уж и скажешь. Обыкновенная! — в голосе Смолиной радость. И, не желая оставаться в долгу, заинтересованно спрашивает: — А ты как живешь?

## 2

Больше всего Смолина боялась, что родится у нее девочка. Уже последнее время дохаживала, а как подумает об этом, в жар бросит, красными лепешками лицо пойдет, и без того разрисованное коричневыми пятнами. Встанет она у окна, руками по животу гладит, а слезы сами по себе текут.

На улицу Смолина выходила редко. Хотя и была она характера крепкого, даже вздорного, так о ней отзывались в ламповой, а тут обуял ее страх перед Зинаидой. Не стыд, а страх. Сыграла Смолина, что та ходила к какой-то бабке, чтобы вылечить мужа от присухи, и, передавали, грозилась, дескать, что отольются ей, потаскухе, то есть Смолиной, ее, Зинаидины, слезы.

Они, пожалуй, лет десять как в подругах ходили, с тех пор, как пришли на шахту в ламповую. Случалось всякое, и ссорились — чего не бывает там, где бабы одни собираются. А Смолина, ей только затравочку подай. Развоюется,

раскричится — ни уему, ни страху не понимает. Зато и начальство ее побаивалось. Она так и была бессменным профоргом и за девок стояла горой. И Зинаиде, когда та из-за неисправности на заправочном столе обварила руки кислотой, не только на заседании шахткома отстояла бюллетень, еще и путевку выхлопотала в санаторий. Начальник смены уговаривал скрыть травму, сто процентов обещал платить до самого излечения — неприятностей не хотел. Ох, и злился он на Смолину. Но не мстил.

Была она и на свадьбе у Зинаиды, хотя считалось, что Смолина демонстративно всегда выступала против женитьбы вообще.

— Вот еще,— говорила она,— лишняя обуза. На что он мне? Обстирывать да обихаживать? А он тебя матом да по шее. Нет, не люблю я этого. То ли дело вольная птичка! Куда захотела, туда и полетела.

Гордая и заносчивая, белобрысая, с плоским носом, от чего бледное лицо всегда казалось плоским, она была так востра на язык, что самые завзятые шахтовые остряки ее побаивались.

Девчонки рядом с ней всегда себя чувствовали уверенно, испуганно восхищались ее ухарской дерзостью и бесшабашностью. Она могла на гулянке всем на удивление одним махом выпить стакан водки, в ночь- полночь пойти по заросшим тополями темным улицам, ночевать в гостях никогда не оставалась.

— Что ли, у тебя семеро по лавкам? — смеялись над ней, а она со смехом же отвечала:

— Не терплю я вашей семейной толкотни!

А между тем сама боялась признаться, что смех этот весь придуманный, боялась признаться, что ей очень хочется этого самого домашнего шума. Руки ее, непривычные ласкать, сохли по домашней бесконечной бабьей работе, и никто из ламповщиц не подозревал, с какой внимательностью, если не завистью, слушает она их жалобы на семейные неурядицы.

Может быть, оттого, что с детства Смолина знала о своей угловатости, старалась она на людях казаться вызывающе независимой. Может быть, потому, что игры и танцы рано заменила работа, только за все свои двадцать девять лет Смолина всегда была одинока.

Дважды в ее жизни появлялись мужчины. Слушая их пьяные разговоры о загубленной жизни, она придумывала свое короткое счастье, пыталась радоваться ему, как радуются в начале лета желтым одуванчикам.

Но приходило утро, а вместе с ним исчезало видение счастья. И пусто, и холодно становилось у нее на душе.

В те дни Смолина с кем-тоссорилась на работе и, спрятавшись в раскомандировке, плакала там, положив голову на некрашеный стол. И решила наконец, что счастье и любовь не для нее, и с тех пор дом ее был всегда тих и покон тишиной одиночества.

Она возвращалась однажды с шахты, когда повстречала подвыпившего Анатolia с дружками. Почти силой отбила его у них и отвела домой. Зинаида сама открыла ей дверь.

— Принимай-ка принца -своего,— Смолина втолкнула нетвердо стоящего хозяина в квартиру,— кое-как удержала, на именины все рвался.

Зина пообещала еще устроить ему именины и со слезами стала жаловаться Смолиной на свою жизнь. Тут затарабанили в дверь громко, уверенно, требовательно.

— Вот постреленок,— Зинаида вытерла глаза, улыбка осветила и омолодила ее лицо.— Толька, маленький,— объяснила она и пошла к двери.

Из коридора слышались ласково-сердитые Зинаиды причитания, потом в комнату впереди матери вкатился ко-солапый круглоголовый парнишка.

— Вот, тетя Тома, какие мы стали,— любуясь сыном, сказала Зинаида. А когда провожала Смолину к дверям, просительно почти прошептала: — Ты на мои слезы не обращай внимания. Нашей сестре поплакать слаше сахара. Я

тут тебе наговорила триста верст до небес и все лесом. Это я со зла, Анатолий у меня хороший, он нас с маленьким любит, заботится.

3

Толпа первой смены склынула, оставив в воздухе смесь угольной пыли с запахом кислоты. К узеньким окошкам в металлической сетке-стенке ламповой подходили не успевшие спуститься в шахту слесари, горные мастера.

Среди серого одноцветья спецвок ярко выделяется светло-синее с меховым воротником женское пальто. Женщина стоит около пятого окошка, ждет. Когда от него отошел последний шахтер, осторожно опершись кончиками пальцев о грязный подоконник, просовывает голову внутрь, за проволоку.

— Здравствуй, Смолина!

— Зина! — Удивленно смотрит та.— Здравствуй! Ты что, на работу хочешь выходить? — Потом, как-то устало облокотившись на жёлезный стол, выжидательно смотрит на Зинаиду.

— Стерва! — протяжным шепотом выговаривает Зинаида.— Стерва! — она кричит уже. И ламповщицы оглядываются на этот крик.

— Ты чего?

— Еще спрашиваешь?

Женщины смотрят в глаза друг другу. В одних недоумение, в других откровенная ненависть. Но вот на острых белых скулах Смолиной выступили красные пятна, и, угадав по ним молчаливое признание вины перед ней, Зина закричала на всю ламповую:

— Прикидываешься! Гляделки вылупила. Своего мужика не можешь завести, так отца у детей отбираешь!

У пятого окна толпа любопытных, ламповщицы окружили Смолину:

— Подожди, Зина,— пытается вставить слово Смолина, но ее беспомощность только подзадоривает.

— Дай только до тебя добраться. Признавайся честно, сколько раз Толька у тебя ночевал?

Маленькая фигура Смолиной сутулится. Плоское лицо морщится.

— Стыдно? — не унимается Зина, — с мужиком спать не стыдно, а тут заскромничала. Может, и неправду говорю? Чего молчишь? Неправду? Тыфу на тебя, ну какая ты баба? Да будь я мужиком...

— Да подавись ты своим Толькой, — вдруг резко вскинув голову, зло прерывает ее Смолина. — Чего ты с ним ко мне прицепилась — И чисто по-женски, неудержимая в гневе, когда задето самолюбие, Смолина неожиданно выпалила: — Что же это от тебя, такой красивой, мужик ко мне бегает?

— Ух ты! — воскликнул кто-то из собравшихся, и Зина растерялась. Она ожидала оправданий, слез, всего, чего угодно, но только не этого. Слушая дома слезные мужнины покаяния, она их воспринимала как нечто далекое, похожее на чужую неприятность. А вот сейчас поняла весь ужас своего положения и заплакала.

Начальник ламповой вызвал к себе Смолину:

— Правда это все, выходит, Смолина, говорят, у вас женатые мужчины ночуют?

Смолина к тому времени уже пришла в себя. Всю ночь она проплакала, ругая себя за то, что однажды не выставила пьяного Анатолия из квартиры, хотя делала это всякий раз, когда забредал он к ней с компанией друзей распить бутылку. А в тот раз, когда он задремал на диване, взяла и не разбудила его. Может, все оттого, что было ей с ним по-свойски свободно и просто, но скорее всего потому, что себе даже она боялась в том признаться, вся ее фантазия, все ее помыслы о бабьем счастье как-то сфокусировались на этой рослой мужской фигуре с лицом свежим и смуглым, с карими под густо сросшимися у переносицы бровями. В конце концов и зависть не к Зинаиде, нет, ко всем замужним переполнила ее одинокую душу.

— Так правду говорят? — спросил начальник.

— Что же у вас холостые взамен есть? — дерзко спросила Смолина и с таким отчаянным презрением поглядела на начальника, что тот только рукой махнул.

— Смотри, Смолина, это аморалка, а ты понимать должна, мы этого в коллективе не можем терпеть.

— А мастер третий день пьяный на работе, это не аморалка? — спросила Смолина.

— Ну ты иди, иди, — проводил ее начальник.

4

Смолина работала в ночную. Днем она пошла к гинекологу. Доктор заметила ее робость, деловито спросила:

— Впервые у нас? Детей нет? — потом уже, выписывая направление, еще поинтересовалась, — а муж не возражает? — и добавила, — ваш возраст, милочка...

Смолина отвечала односложно, чувствуя в голосе врача не то неприязнь, не то сочувствие, и хотелось ей одного — скорее уйти, убежать.

Дома она потом целый день пролежала. На окне непонятное морозное кружево, на столе — белая бумажка. Казалось, что только от нее в комнате так холодно и пусто. Поэтому от холода этого бегут и бегут слезы.

О чем она плакала? Может быть, от страха перед предстоящим?

Но неожиданная для нее самой вдруг пришла мысль. И не могла она уже прогнать ее от себя, хотя боялась и находила десятки доводов против. Но только один, зато такой, с которым все труднее и труднее было бороться, все с большей требовательностью и властью овладевал ею:

Конечно, никто не знал ничего о посещении ею врача, и случившуюся с ней перемену не замечали. Смолина по-прежнему была криклива и вздорила по всякому пустяку. Но иногда вдруг необычно приветливо и задумчиво начинал звучать ее голос, пока она, спохватившись, не приглу-

шала его, не прикрывала своей привычной жесткой иронией.

В ее квартире незаметно поселилось настороженное ожидание, и жизнь Смолиной наполнилась заботой.

В ламповой, наконец, сама не утерпела и Сашке-напарнице ляпнула. Узнали о ее решении рожать и в один голос все принялись уговаривать Смолину не делать этой глупости.

— Томка, да ты с ума сошла, тридцать лет, а? — жалели ее. — Пока не поздно, иди, не бойся, не ты первая, не ты последняя. Три дня — и ты человек, а то ведь всю жизнь мытариться! Что ты с дитем этим делать будешь?

Смолина по-прежнему не лезла в карман за словом:

— А Зинке отнесу. Рожу и ей отнесу, на, мол, тебе вот подарочек!

Тогда в ламповой решили, что она, набитая дурой, просто не в своем уме.

— Каждый человек счастья себе хочет, — попробовала одна заступиться за Смолину, но ее не поддержали.

А потом, когда узнали, что Смолина обменяла свою квартиру на комнату в общей секции в шахтерском поселке на другом конце города, и вовсе согласились все, что она свихнулась.

Смолина пришла в роддом сама. Пришла и сказала: «Кажется, у меня схватки...»

Роды были долгими и мучительными. Когда сестра, обтирая пот с ее осунувшегося лица, уговаривала кричать, чтобы облегчить страдания, Смолина только скрипела зубами.

Прошла ночь, а она все еще лежала в родильной. И только часу в десятом утра нового дня нестерпимая боль пробежала по телу, зажала его в тиски и стала выкручивать.

— А-а-а-а! — не смогла удержаться Смолина. В голове что-то оборвалось, сознание помутнело. Откуда-то, как эхо, откликнулось резкое:

— А-а-а!

Теперь не боль, а слабость навалилась многопудовой тяжестью.

— Откройте, откройте глаза,— потребовал кто-то, и она медленно, с трудом приподняла непослушные веки.

Маленький розовый человечек разевал рот у самых ее глаз.

— Дочь, поздравляю,— донеслось мягким звоном.

Дочь! Вот оно, как раз то, чего она так боялась. Не хотела она девчонку, памятуя свою незадавшуюся жизнь. И глаза роженицы опять закрылись, и из-под ресниц редко по впалым щекам стали стекать слезы.

— Да что ты, милая,— уговаривает сестра,— все уже позади, сейчас отдохнешь будешь, натерпелась-то как, да погляди ты, погляди, какая она пригожая и уже чернобровая.

Смолина открыла глаза, настороженно глядя на свое дитя. И неожиданно все тревоги, все страхи куда-то отступили. Волна невероятной, еще ни разу не испытанный томительной радости вдруг наполнила ее грудь, все ее тело, и Смолиной показалось, что она слышит, как эта радость с легкостью и силой вливается в нее.

И непохоже было это чувство на все, чем жила Смолина раньше. Будто стала она совсем другая, какая-то не своя.

— Здравствуй! Здравствуй, кровиночка моя,— зашептала она.

Тонкий, прозрачный румянец высветился по впадостям щек, она вновь закрыла глаза, и, как искорка от костра, от румянца разошлась теплота и согрела потрескавшиеся сухие губы в слабой улыбке.

Анатолий приезжал один раз по осени. Прямо во двор, залитый лужами, тяжело вкатился автобус.

— Это я,— сказал он, когда на звонок Смолина открыла дверь.— Не пустишь поглядеть?— Он держал в руках бумажный кулек и не знал, куда его девать.

— Проходи,— Смолина смотрела на него просто, легко, не удивляясь и не волнуясь,— только она сейчас спит.

Анатолий снял сапоги у порога и, осторожно ступая, пошел по длинному коридору. Так же осторожно подошел к кроватке и долго смотрел на круглое розовенькое, с густыми черными бровями лицо.

— А нос-то,— у девочки был остренький носик,— а нос,— сказал Анатолий и непроизвольно как-то ощупал свой нос.

— Как же ты теперь? — спросил он Смолину.— Что делать-то станешь.

— Как что делать? — не поняла вначале та, а потом руками досадливо взмахнула,— жить будем, Толенька, рasti. Чудаки! Все жалеете? Все думаете, влипла баба, да? Я тоже так-то вначале. Пока радость свою на руки не приняла, счастье свое. Вот она, моя кровиночка. И никто нам не нужен. Еще и от своего куска с кем-нибудь поделимся. А что? Вырастет капелька какому-нибудь хорошему парню на радость, а? Вырастет! — и тихо смехом вздохнула.— Да ты не бойся, мы тебя не тронем. У тебя своя семья, а у нас своя, не бойся. Мы и сами с усами.— Она говорила без горечи, без иронии. Она говорила правду.

— И зайди нельзя?

— А к чему? У нас на тебя зла нет, и ты на нас не держи, Зинку не обижай, хорошая она у тебя,— и мягкая улыбка покойно тронула ее узкие незаметные губы.— Знал бы ты, как нам хорошо! Сколько у нас радости каждый день бывает, да все новые, все новые! Ох, и счастливая я!

Анатолий постоял еще немного и так же на цыпочках пошел к двери. Уж от порога он спросил:

— Может, денег надо? — и тогда только заметил, как хороша стоявшая перед ним маленькая женщина с ребенком на руках.

— Нет, спасибо,— Смолина улыбалась,— я же тебе скажала: нам двоим хорошо, и ничего нам не надо.

— Да я так, понимаешь, ничего, если что? — Анатолию

было не понятно поведение женщины, и от этого он вдруг испугался за себя. И долго маялся в дверях.

— И я ничего. Прощай. Ты забудь-ка о нас, да покрепче и не сердись,— напутствовала его Смолина.

Далеко расплескав лужу, медленно переваливаясь с боку на бок, автобус укатил со двора.

...К дому своему, старому деревянному двухэтажному, окруженному высокими тополями, Смолина добралась уже совсем затаинно.

Поднявшись по широкой, чисто вымытой лестнице, она остановилась перевести дух. Спящая девочка оттянула руки. Смолина приоравливалась достать ключ, боясь ее разбудить, когда выглянула соседка.

— Том,— она вышла на площадку,— дай-ка подержу. Ишь ты, нагулялись, притомились!— Приговаривала она, ловко подхватывая девчушку.— Вы только ушли, слышь, Том,— соседка следом вошла в квартиру,— и Виктор приехал. Я, говорит, угла привез.

— Вот еще, кто его просил,— щелкнув выключателем, заметила Смолина.— Без него бы не обошлась!

— Да брось ты, Томка! — Передавая ей ребенка, зашептала соседка.— Ну чего ты в самом деле! Такой мужик самостоятельный.

— Ладно, ладно! Заступница!

— А чего в самом деле! Ну, словом, кой-как ключ к твоему сараю подобрала. Сам он все и сгрузил. Велел сказать, что их в колхоз на неделю посылают.

— Как так? — испуганно вырвалось у Смолиной.— Погди и белье теплое не надел? — и, засмущавшись, объяснила:— У них в общежитии целая коммуна. А он — душа простая, все отдает. Поди, голодный!

— Да накормила, накормила я его! — Улыбнулась соседка.— Еще и сала кусок дала,— и заторопила:— Ну что же встала? Девка-то сопреет, давай-ка скорее раздевать да укладывать, вот как посапывает.

## УТРЕННЯЯ СМЕНА

Я с раздражением отметил для себя, что говорю совсем не то, о чем думаю сейчас. Неприятное чувство усиливалось оттого, что она — так мне показалось — понимала мое состояние. По-видимому, она испытывала некое удовольствие от моей растерянности. Не злобное, не насмешливое, нет, а какое-то испытующее любопытство исходило от нее.

Она не торопилась уходить. Я незаметно взглянул на часы: минут через тридцать — сорок Надя должна быть дома.

К чему об этом думать, сказал я себе и посмотрел в окно. Как поздно светает, отметил я, увидев в фиолетовом зеркале рамы свою всклокоченную голову, а вслух спросил:

— Как спалось?

Она сидела за столом, зажав в ладонях чашку с чаем. Неуютно, холодно было в квартире. Впрочем, это от неожиданности, от непривычки. Совсем недавно теплый осенний ветер подметал тротуар под нашими окнами. Октябрьскими днями женщины ходили еще в летних платьях, мужчины в рубашках-распашонках. Ездили по грибы. Только и разговору было о груздях и опятах. Это в Сибири-то, в октябре! И вдруг «прижало».

Ждали, все ждали, удивлялись: когда же наступят холода! А как «прижало», словно бы и обиделись.

— Как спалось? — Я чуть повернулся кисть левой руки и скосил глаза на циферблат. Такой обычный, непроизвольный жест, да и слова-то необязательные, первопопавшиеся. Но в них уж невольно прозвучала все-таки моя озабоченность, потому-то она, теперь уже откровенно жалея меня, улыбнулась понимающе:

— Милый ты мой человек! Если бы ты знал, как я тебе благодарна за все! — Улыбались и ее глаза. Может быть, именно это и раздражало меня больше всего.— Ми-

лый ты мой человек. Подумать страшно, что бы я делала без тебя?

— Ну о чём разговор! — сказал я, и получилось у меня это так притворно бодро, что я вконец рассердился на себя: произношу одно, а голова занята совершенно другим.

Думал я о жене. Надя поехала проведать дочку. Мне не давал покоя вопрос: сейчас ли, утром, она приедет или днем? На работу ей во вторую смену, так что, наверное, не будет торопиться.

Мысленно рассуждал я и в то же время пытался изобразить снисходительную улыбку. Однако если на моем лице и обозначалась какая-нибудь гримаса, то уже меньше всего она напоминала улыбку. И опять по ее глазам я об этом догадался. Какая-то тень не то жалости, не то сострадания мелькнула у нее на лице, и я услышал слова: — Я сейчас уйду. — Но руки от чашки с чаем пока не отнял.

Со стороны-то фальшь была видна как на ладони, когда плечи вздернулись у меня к ушам, брови поднялись, собрав на лбу морщины: таким образом я попытался изобразить нечто вроде недоумения. Сам же продолжал думать о жене.

Что бы я ей сказал, окажись Надежда в подобной ситуации? А вслух как можно бодрее, даже весело сказал:

— Куда тебе, Лариска, в такую рань? Мне, сама понимаешь, на шахту, сегодня в первую, а тебе что? Отдыхай, — предлагал я, в то же время мне нестерпимо хотелось, чтобы она скорее ушла, сейчас, навсегда.

Как все глупо получилось. Совершенно ни к чему мне было это приключение. Смешно сказать: приключение! Но все равно. Мог ли я о подобном хотя бы подумать еще вчера вечером? И о том ли мне размышлять сегодня, когда у нас в бригаде совершенно необыкновенный день? Мы наконец запускаем нашу машину. Мою машину!

Невесть, правда, какое изобретение, но зато теперь не вручную будем нишу вынимать в лаве — стартовую площадку для комбайна. Мороки с ней предостаточно было, а

теперь все должно наладиться. Батя, наш механик,— зовем его так потому, что он нас значительно старше и души добродой,— доволен.

— Голова у тебя варит, Токарев!

А сейчас голову приходится ломать черт знает над чем, вместо того чтобы спешить на шахту.

С каким облегчением я вздохнул, когда дверь квартиры захлопнулась за нами и я, торопливо пробурчав слова прощания, почти бегом направился к автобусной остановке.

Сейчас вновь и вновь я все это переживаю. Мы, то есть утренняя смена нашей бригады, трясемся в крытом брезентом «газике» в стылом полумраке по дороге к новому шахтному стволу. И слышу ее, Ларискины, слова, и вижу, будто в зеркале, свое растерянное лицо. А у меня на нем, как уверяет жена, всегда все написано.

— Бригадир, кончай дремать! — нашел меня в темноте голос Бориса Ковалева.— Ты у нас человек ученый, ну скажи, пустяки это или нет?

— Пустяки,— отвечаю я, хотя не слышал, о чем шел разговор.

— Почему же? Объясни тогда,— пристал ко мне Борис.

В это время машину нашу вдруг резко качнуло в одну, затем в другую сторону. Нас всех приподняло, и мы жестко опустились на деревянные скамейки.

Судя по такому толчку, наш «газик» повернулся от старого террикона вправо. Каждая выбоина — если ее часто проезжать — имеет свой характер, а на всем пятнадцатикилометровом пути от комбината более коварной, чем эта, не было.

И если все, а нас в машине одиннадцать — первая смена комсомольско-молодежного батальона, как выражается Батя, то есть третья часть всей бригады шестого участка с шахты «Кедровая дача» — и если все мы разными словами, но удивительно схожими по смыслу поминали тех, в чьи

обязанности входило следить за состоянием дороги, то я, Анатолий Токарев, их бригадир, на этот раз от души был рад: оживление, вызванное толчком, отвлекло внимание ребят от вопроса Ковалева ко мне и от несуразно прозвучавшего моего ответа. Настырность Ковалева известна каждому. С первого появления его у нас стало ясно, что за характер у парня.

Боря Ковалев, машинист механизированной крепи, в бригаду пришел недавно. Несколько лет назад. В нашей бригаде чуть ли не у каждого рабочий стаж перевалил уже за десяток лет. А средний, как говорится, возраст двадцать семь. Рабочий стаж у нас вместе с армейским считается. Мы, например, с Соколовым из этой же бригады в армию уходили, тогда у нас бригадиром был Столбов. Он теперь инженер, одиннадцатый участок возглавляет. А я бригаду принимал у Геннадия Воронова. КузПИ окончил и работает механиком на восьмом. Рустам Нурсаламов, тоже бывший солдат, свой, доморощенный. Ну, а Борис, он к нам со второго участка пришел, когда мы уже во всю осваивали первый на шахте добычной комплекс.

Сказать — осваивали, а честно — тяжкое время было. Все в диковину, все в новинку. Задора и силы хватало, конечно, а умения-то еще не было. Смешно: по триста — двести пятьдесят тонн бывало выдавали!

Механизированную крепь у нас, правда, на нескольких участках применяли к тому времени. А работали молотками. Но это все равно, что, скажем, трактор в семьсот лошадиных сил в однолемешный плуг запрягать. И почему-то добычные комбайны никак не приживались. Хлопот с ними, правда, было много, но в основном надежда на силу и смекалку, для горняка дело более привычное.

Однако съездили мы к соседям. Побывали в механизированной лаве, под комплексом, и потянулись к этому делу. А лиха поначалу, верно, хлебнули. Да и сейчас тонны без пота на-гора не выдаются. Что это за работа, на которой не потеют? Тут хоть танцоров возьми, хоть космонавтов.

Отец мой всю жизнь крепильщиком в шахте прорабатывал. Главным кормильцем у него был топор. Притаскивают лесогоны пихтовые столбы в забой или лаву, затяжки, горбыли, огнивы. Вот и рубил из них отец «круги» — крепь шахтовую. Сколько у него за двадцать пять лет «кубиков» вышло! На таежные гектары надо счет вести.

А у Ковалева, машиниста крепи, совсем другая работа, тонкая. Не топор — гидравлическое устройство у него в руках. И не лесины, а мощные металлические секции, попросту сказать, подпорки. Поворачивает он рукоятки гидрораспределителя, и эти железные балки на какое-то мгновение, будто устав, приседают, и оголяются страшные сантиметры пустоты. Кажется, вот-вот освобожденная неожиданно гора, воспользовавшись моментом, надавит всей громадой. Но нет. Это не усталость. Это мгновение сосредоточения. Поворачивает машинист рукоятку, и послушные его стартовой команде одна за другой прижимаются к груди забоя секции, вновь принимая на свои плечи невообразимую тяжесть горы. Впечатляющая картина, видеть удивительно, а словами и не рассказать. А потеть Борису все одно приходится. У каждого пласта, словно у человека, свой характер, свой норов. Бывают — словно бы сами просятся: бери! А бывают такие коварные, что хоть криком кричи! Всякое случается. Так вот, как раз в то время, когда мы этот комплекс осваивали, и попросился к нам в бригаду Борис Ковалев.

— Я очень удивительный, — объяснял свою просьбу, — то есть любознательный. Интересно, думаю, у вас должно быть.

Интересно, верно, было, да показала характер свой наша лава. Круто нас в оборот взяла.

После монтажа недели две только спокойно и поработали. Нарадоваться не могли. Но вдруг стала сверху сквозь секции порода сыпать, как будто ее там специально для нас кто-то запас. Ни конца ни краю ей не видно. Тут и с техникой всякие чудеса пошли. Словом, одно к одному. За-

мучила нас порода с кровли. Возьмет комбайн стружку, то есть по всей длине лавы срежет пласт угля, состружит как будто, а уголь наполовину с породой.

Все делаем будто как надо. Крепь пытаемся плотнее прижимать, а эффекта никакого. В налаженном деле неприятности случаются, а тут в самом начале. Мишка Федоров, лучший наш комбайнер, если бы ему такие соревнования устраивались, точно бы за художественное вождение комбайна приз мог получить, так тот прямо на наряде и рубанул:

— Толку не будет, лучше демонтировать комплекс, и вся недолга.

А что это такое — перемонтаж? Это же понимать надо. Да и куда? Кто нам под него новое место подготовил? Но выход надо было найти. И Ковалев выручил нас.

— Любопытно мне,— говорит,— это непонятное геологическое явление. Однако до его тайн пусть ученые докапываются. А не попробовать ли над сёкциями деревянный настил класть?

И в самом деле, как нам это в голову не приходило раньше.

— Как же ты дошурупил? — спрашиваю Бориса.

— Уж такой,— отвечает,— характер удивительный: вопросом каким-нибудь задаваться. С тех пор его так «удивительным» и прозвали.

И вот сегодня, сейчас, как только ребята, после того как машину тряхнуло, уселись, угомонились, потеснее прижалась друг к другу,— по нынешним холодам и в машине не очень жарко,— Ковалев и вспомнил свое:

— Почему же ты, бригадир, считаешь, что все это пустяки?

— Потому что не он это придумал,— послышалось откуда-то у меня из-за спины. По голосу я узнал Нурия.

Ответить что-то надо, только я-то в настоящий момент думаю о другом. Если Надя выехала поездом, то наверняка она уже дома. В каком-то странно параллельном дви-

жении направлялись мои мысли. С одной стороны, следовало найти ответ на Борисов вопрос. Не привык я оказываться в смешном положении. Не привык и не люблю. Куда было проще признаться: «Не слыхал!»

По инерции сработало сопротивление. Честно сказать, привык, что за мной решающее слово. Знаю: наверно это не всегда так должно быть. Однако привычки, порой не спрашиваясь, правят нами. В такие моменты, вернее уже после них, сам себя не люблю, а вот не умею по-другому.

С другой же стороны, не мог я не думать о жене. О том, как она сейчас ходит по нашей квартире, подбирай мои вещи и газеты, беззлобно ворча на меня. Добрая душа Надежда. А может быть, она уже позвонила Лариске? От этого предположения мне стало очень не по себе. Во всем, что произошло, собственно, нет виновных, но случается с нами такое — охватывает вдруг мучительное чувство беспомощности, и это всегда оскорбляет. Когда поздно вечером раздался звонок (что, собственно, было не новостью: поздние гости в нашем доме не редкость), я, однако, вздрогнул. И не столько от неожиданности, сколько от какого-то предчувствия. А уж увидев на пороге улыбающуюся, маленькую, остроносую Ларису в ее неизменном детском капюшоне, и радостно, и испуганно растерялся.

Лариса, шумная, маленькая Лариса, совсем незаметно вошла в наш дом. Таких знакомых у нас до нее не было. Она появлялась вдруг неожиданно, перед этим не заходя по неделе, а то по две. Всегда радостная, с кучей новостей. Была она художницей. Носила брюки, жилеты ярких расцветок и фасонов и вдобавок ко всему — я удивлялся, как это не раздражало жену, — отчаянно курила.

В доме у нас всегда порядок. А Лариска, пожалуйста, — на тахту с ногами, подушки под спину, сидит, печенье грызет.

— Ох, ребята, до чего у вас хорошо! Уходить не хочется.

А жена радешенька. Подкармливает да приговаривает:

— А ты угощайся, угощайся.

Надежда моя, аккуратистка и блюстительница строгих нравов, на удивление близко к сердцу приняла эту взбалмошную девчушку.

Вообще-то они, наверное, ровесницы. Но домовитая, обстоятельная хлопотунья Надя относится к Лариске по меньшей мере как заботливая старшая сестра.

Начнет стряпать блины или жарить рыбу и непременно, когда сядем за стол, вспомнит:

— Вот бы занесло Лариску. Поела бы. Где-нибудь опять голодная сидит или печенье сухое грызет, бедняжка.

Может быть, это у нее оттого, что дочка, маленькая Катька, живет у бабушки? Учебные дела наши — мы с женой оба заочники — заволокли Катюху в Ленинск-Кузнецкий. Живется ей там весело. И домой не собирается вовсе. А в нашей двухкомнатной гарнированной квартире без ее разбросанных игрушек, без ее крика и шума порой бывает тоскливо. Конечно, закончит Надя учебу — тогда будет по-другому. Проще, как она говорит. Но я задумываюсь иногда вот над чем: почему нас к этой простоте тянет? Какие-то прятки от жизни, а не простота получается. А как быть? Этого я не знаю. Как-то однажды я сказал жене:

— Тебе не кажется, что все у нас правильно и по-деловому, да и больно гладко. У Ковалевых двое, Борька тоже учится да еще мичуринский у них, Галина работает, а выкручиваются?

— Вот именно. Крутится, как белка. В парикмахерскую некогда забежать. Это, по-твоему, жизнь? Совсем обабилась. Думаешь, она не хотела бы по-иному? Не крутиться, а жить надо, Толя! Конечно, не было бы стариков, но раз они есть! Будут же и у тебя внуки, разве ты станешь по-другому поступать, а? Не будешь их нянчить? Да и Катюхе, знаешь сам, у бабушки лучше, чем в детском саду.— Она улыбнулась, и на ее румяных щеках появились маленькие ямочки, которые будто освещали ласковым светом ее круглое лицо с прямыми черногустыми бровями, сбежавши-

мися к переносице. Катюха любила, сидя у нее на коленях, играть с ними.

— Надя, дай дынички,—просила она мать, и только та улыбалась, как Катька спешила вонкнуть пальчик в эти «дынички».

— Думаешь, мне без Катюхи хорошо? Но я хочу, чтобы всем нам было хорошо. И будет хорошо. Верю я в это. И тебе я не надоем в домашней растрепанности, и ты мне не опостылишь занятостью. Вы же, мужики, не только эгоисты, а еще и частнособственники. Зачем же ты меня осуждаешь? И в чем моя вина? В том, что я хочу чувствовать себя любимой женщиной? И не только хочу, но и стремлюсь к этому? Галка тоже хочет и тоже стремится. А Борька твой? Помнишь, как он ей сказал в прошлый раз:

— Училась бы у Надежды следить за собой да порядок в квартире содержать.

А у нее в это время Кирка болела, на аборт уже очередь подошла, и на мичуринском своем он ее как поденщицу замордовал. Это, по-твоему, жизнь? Ему бы спасибо говорить, а Борька ее до слез довел.

— Не со зла же. Просто пошутил. Он же ей во всем помогает. От Бориса только и слышно: в детсад надо, молока купить, ягоды в этом году девкам на всю зиму хватит, еще и продали три ведра.

— Видишь ли, я вот соседке тоже помогала. Платье ей сшила. Так от вас разве только помошь, разве работа грузчиков требуется? Жене душевное внимание надо. Честно сказать, не ждала я подобных слов от Бориса... ох и рассердилась я за Галку на него.

Между прочим, помню, это было как раз в тот день, когда мы и познакомились с Лариской. В августе? Нет, скорее в сентябре. Старший из Нурсаламовых, их у нас двое братьев в бригаде, купил «Москвича». Третья машина в нашей бригаде. Про мотоциклы уж чего и говорить.

Почему помнится? Потому что как раз и вышла тогда у нас неприятность, и очень крупная.

Оба брата опытные комбайнёры, горячие ребята, и оба — звеньевые. Рустам старший и привел Нурия на участок к нам тогда, когда сразу двух комбайнёров в армию призвали.

До этого Нурий работал на одиннадцатом, тоже звеньевым в молотковой лаве. Ловкие у него ребята там были, редко бывало, когда на комитете комсомола итоги подводим; чтобы звену Нурсаламова вымпел за первое место не достался. Непросто было его с одиннадцатого забрать.

Но я так: уж чего задумал, на что решился, своего добьюсь. И главное: не для себя ведь выгод ищу! Комплекс на шахте — последнее, лучшее слово техники. Кто же эту технику должен эксплуатировать? Лучшие, безусловно.

В свое время, когда речь о комплексе зашла, многие бригадиры наотрез, к примеру, на том же одиннадцатом, откаzzались. Не потянем, дескать. Не для нашей это старушки, а наша «Кедровая дача» и впрямь уже в годах — полсотни вот недавно стукнуло. А мы решились. И, конечно же, ответственно нам и люди такие, смелые, энергичные, нужны. В этом наш интерес. А разве общего в этом интереса нет? Для всей шахты?

Я сказал, что не для себя выгоду ищу. Тут может показаться, что я от своей-то выгоды могу отойти. Нет! Какой же я тогда бригадир? Да ребята мне тут же по шее дадут и правы будут.

Да и вообще какой человек не своим интересом живет? Есть такой? Нет. А взять Рустама. Свой же интерес блеует, но как? Вот в этом-то и вопрос! С той же неприятностью, например.

Я тогда только что вернулся с сессии, сдавал за третий курс (учусь я в политехническом на отделении горной механики), а бригадирствовал за меня Рустам. Это у нас давно так заведено. Парень он самостоятельный, с характером, можно сказать, законченный бригадир. У меня оста-

вался еще один день отпускной, но разве усидишь дома. Почти месяц ребят не видел, что у них делается, не знаю. И совсем не потому, будто боюсь, что без меня «и солнце б не светило». Меня поймет всякий, для кого его дело — единственное, так что его, как кожу собственную, не сбросить, не сменить. Поэтому я с утра сразу на другой день после возвращения и поехал на шахту. Ребят, к сожалению, не застал уже, смена спустилась. В раскомандировке еще оставались начальник участка, механик, Батя, и Миша Яблоков — электрослесарь, наш комсомольский секретарь.

— Ну, бригадир, вовремя ты нарисовался, — приветствовал меня Яблоков. — Тут у нас такой кипиш! Читай! — Он пальцем указал на доску объявлений. Читаю: «В 15 часов 30 мин. внеочередное открытое комсомольское собрание. Повестка дня: разбор заявления Рустама Нурсаламова. Явка обязательна. Бюро».

— Что это за заявление? — спросил я у начальника. Тот кивнул в сторону Мишки: — Он тебя введет в курс дела.

Но тут Батя спросил меня:

— Ну как твоя курсовая?

— В самом деле, как? — полюбопытствовал и начальник.

— Курсовая в порядке, — сказал я, в первую очередь мне об этом и хотелось рассказать. Фактически она наша общая работа. Над нею мы возились долго сообща. Делали приспособление для механической подготовки ниши, нечто вроде лавной стартовой площадки для комбайна.

— Курсовая на «ура» прошла, — повторил я, — а у вас тут, вижу, внутриполитическое разногласие?

— Да нет, — Мишка опять расцвел в улыбке, — просто скора. Братья поссорились.

Видимо, такое искреннее недоумение обозначилось на моем лице, что начальник посочувствовал и, как мне показалось, не без иронии:

— А ты крепись, крепись, бригадир!

— Ты чего же это скалишься, вроде как подарок получил? — не сдержался я, обращаясь к Мишке.— Комсорг, называется. Да в конце концов в чем дело?

— Да все нормально, Толя!— Мишка еще сильнее улыбался: пропустив мимо ушей мои слова, сообщил: — А Федорову опять в клубе морду набили. Конечно, за девчонку. Но девчонка, я тебе скажу! Новая ламповщица у нас. Он говорит: «За такую и синяки носить приятно». Так что не огорчайся, все в порядке.

Тут уж и я засмеялся. Представил себе рыжие Мишкины кудри и под глазом сизый синяк. Как же он, красюк, на танцы ходить будет? Хотя ему это и не впервые.

— А братья не поладили всерьез. Не здороваются даже! Знаешь же Нурий? Своя рубашка ближе к телу! — сказал Яблоков.

И вот собрались мы на собрании. Слушаю я Рустама, он стоит у стола напротив своих товарищ по комсомольско-молодежной, стоит напряженный, говорит медленно, с акцентом:

— Вину с себя не снимаю, позор вышел. Но кончается терпение тоже. На ребят стыдно глядеть. Снять требую со звеньевых и из бригады выгнать.

— Так уж сразу и выгнать? Все-таки брат тебе, да и с кем не бывает. Мы же воспитывать должны. Думаешь, машиной овладел, и все? Сами убеждаешься, что новая организация труда — не на словах, а на деле — совсем другого отношения к работе требует. Надо Нурия послушать, — сказал начальник участка.

— Слушать не надо. Все известно,— Рустам неумолим.— Был бы не брат, я бы мог простить. А позор мне от него не идет? Думаешь, не скажут: Рустам брата прикрывает? Не скажут?

— Да я что, себе в карман длинный рубль положил? — выкрикнул Нурий.— Я у тебя пай отнял?

Вот этот самый «пай». У себя в бригаде, перед тем как прийти к нам на комплекс, Нурий не знал себе равных в

работе. Невысокий, узкоплечий, когда его видишь, ну хотя бы вот так, сидящим в комнате, он вовсе не производит впечатления сильного человека, способного за смену перекидать более десятка тонн угля. Черноволосый, с короткой челкой над скучающим мальчишечным лицом, он в самом деле выглядит совсем пацаном. Нурий превращается в густок энергии там, в шахте, в лаве. И у себя на участке, и когда пришел к нам, он в своем звене всегда был первый.

Теперь понимаю. Я, бригадир, видел в нем только впереди идущего. А ведь иногда жаловались на него ребята. Рвет уголь, побольше взять торопится. И разговаривал я с ним не раз. Но, видимо, не сумел я ему что-то объяснить как следует. Выходит, то, что кажется само собой разумеющимся, иногда на глубинную проверку оказывается далеко не таким уж общеизвестным. Ведь и сидя на собрании, Нурий явно не понимал брата, да еще и сердился.

Перед собранием, неделю назад, когда Рустам пришел со своей сменой в забой, брат его встретил весело:

— Ох, мы сегодня поработали! Давно такого не было. Если две нормы не будет, можешь хоть с работы увольнять! Как по маслу шел комбайн, хоть песни пой!

И в самом деле, рассказывали ребята, повезло им. «Благодатный» наш за все наши мытарства вроде подарок преподнес. За целую смену ни одного злосчастного камня-колчедана не встретилось. Вот они и развернулись. Ну, а если Нурий в азарт вошел, его не удержишь, это всякий знает. И еще не остывший от радости за удачно сделанное дело, он взахлеб рассказывал брату, словно вновь переживал всю смену час за часом, как они включились в работу, как отлично шла машина, как здорово работали ребята. А Рустам вместо того, чтобы порадоваться успеху, полюбопытствовал:

— Почему это у тебя секции покривились? Это как же называется?

— Да, понимаешь,— искренне признался Нурий,— не до них было. Такой уголь шел. Ну не до этого было...

Потому, как замолчал брат, Нурий понял, что тот недоволен, но рассудил об этом по-своему:

— Если ты бригадира замещаешь, так значит и начальника обязательно корчить из себя надо? Тут дел-то всего раз да два. Или, может, завидуешь?

Была это у них первая стычка. И, как рассказывали ребята, все внешне выглядело очень спокойно. Рустам только предупредил:

— Считай, что это последний у нас разговор.

В тот день Рустам никому не сказал ни слова. Не сказал и о том, что сам он с ребятами потом всю смену возился с крепью.

А тут как раз побили Мишку Федорова. Специалист он отличный, самый молодой у нас комбайнер, но не везет ему на всякие случаи. И, как он сам утверждает, началось все с самого рождения, потому что угораздило его родиться двадцать девятого февраля.

— Старшина мне в армии говорил,— объясняет Мишка свою невезучесть,— голова у тебя светлая, но, по всей видимости, должна была другому достаться. И как же нам с тобой быть, Федоров,— спрашивал старшина,— если мы тебя за всю службу твою ни разу не сможем с днем рождения поздравить? Уж лучше бы ты восьмого марта родился, хоть для мужчины и не очень солидно, но терпимо, а так ты просто феномен!

Бот так «Феноменом» и живет этот веселый, добрый, но взбалмошный парень.

Случай с ним и в самом деле происходят необычные. Однажды мы поехали на слет передовиков. Четверо из нашей бригады: три эвеньевых и Михаил как лучший комбайнер. Купили билеты, стоим у входа в вокзал, курим. Подошел к нам мужчина интеллигентного вида. Извинился. Голос такой, я бы сказал, артистический. Попросил закурить. А потом оглядел нас всех, вроде как что-то хотел спросить, и говорит Мишке: «Можно вас на минуточку?»

Отошли. Дружески несколько минут беседуют. Потом,

смотрю, Мишка в карман лезет, вроде деньги отдает, приветливо по плечу похлопал собеседника. Тот с лесенки вниз и в темноте скрылся. Мишка к нам подошел:

— Что это у вас там?

— Да вот пятерки у мужика не хватило на билет, а ему срочно надо, жена рожает.

— Да откуда ты его знаешь?

— Совсем я его не знаю.

— А как же он тебе деньги отдаст?

— А наверное никак,— говорит Мишка.— Адрес-то он у меня не спросил!

Смеялись мы над ним чуть ли не всю дорогу...

В клубе он, танцор завзятый, конечно, не мог сразу не заметить новую ламповщицу. Была в клубе лекция, а после танцы. В оркестре наши же шахтовые ребята играют, так что клуб не пустует.

Раз пригласил Мишка девушку потанцевать, второй. А тут с ребятами заболтался, и когда вновь оркестранты заиграли, он был в другом конце зала. Видит, к его партнерше парень подходит, ну, естественно, пожалел, что оплошал, однако не стал мешать. А она с тем танцевать не хочет. И стоит так, что Мишке ее хорошо видно. Парень, видимо, пытался ее уговорить. Девчонка отказалась, он ее за руку на круг тянет. Она руку вырывает. И вдруг тот ее по щеке звонко как ударит.

— Мне показалось,— говорит Мишка,— что он меня ударил, аж в жар бросило. Не успел сам ничего сообразить, как около этого парня очутился. Он так спокойно в сторону уходил, видно, к дружкам. Ну и влепил я ему. К этому времени дежурные подоспели, меня под руку, его на руки — и вниз. Давайте, говорят, подобру-поздорову сматывайтесь, а то хуже будет.

Выхожу, а трое ждут. Что же было делать? Немного помахали. Вот и хожу с синяками.

Обо всем этом Мишка на комитете комсомола рассказывал дня через три после происшествия, потому что два дня

он на работу не мог выходить. Вынесли ему порицание за неправильное поведение в общественном месте. Однако, учитывая сложность ситуации и заключение медэкспертов, ограничились этим. А тем временем вместо него с Нурием в смене работал другой комбайнер. Он недавно закончил курсы и самостоятельно еще работал мало.

И вот в один из тех дней, уходя со смены, Рустам предупредил брата:

— В конце смены не забудьте загонку сделать.

Попросту говоря, нужно было выровнять забой. Работа эта нелегкая, волокитная, прямо надо сказать, куда легче еще «стружку» проехать — и уголь будет, да и парню очень хотелось комбайнером поработать. Он и подал Нурию такую идею:

— Что мы, сами не знаем, как нам быть? Подумаешь, командир!

Да чего забой ровнять. Вполне ехать можно.

Можно было и в самом деле еще «стружку» проехать, беды особой не было, можно было и «загонку» сделать. Однако бригадир всегда с прицелом должен вести дело. И если сказал — требуй выполнения. Потому что обязан только дело и говорить. И вот слушаю я Рустама.

— У каждого, — говорит он, я вижу, что не сейчас, не здесь, на собрании, придумал он эти слова, — есть свой интерес. У меня интерес, чтобы от людей на работе не краснеть, тогда и сам доволен буду, и люди. И еще интерес, думаешь, у меня, чтобы тяжелую пустую работу делать? Нет такого интереса. Но все у нас поровну, значит, и пустая работа, значит, и тяжелая — тебе половину и мне столько же. А так не комплекс, а базар получается, кто кого обманет, тот и в барыше? Вот почему я говорю, что уволить надо моего брата. Или меня. Не работать нам вместе. Не умеет он людей уважать. Жалко мне его. Руки хорошие, голова дурная. Думает, что он один умный.

Он сел. Опустил голову. Было видно, что очень ему тяжело, и в то же время какую сердечную мудрость должен

был иметь этот парень, чтобы вот так все это сказать.

И дома я все думал и думал об этом необыкновенном нашем разговоре. Разговоре о том, как же нам жить, о том, как мы сейчас живем, и о том, как разность житейских наших дорог удивительно пересекается на перекрестке, имя которому — наше дело. Братья остались оба у нас работать. Только Нурий теперь не звеньевой. И хотя я иной раз вот так, как сегодня, скажем, когда мы едем на смену, не то во взгляде, не то в слове его замечаю некоторую отчужденность, все-таки я верю, придет время и он поймет: так с ним поступили потому, что он просто не сумел сразу понять главный закон, по которому живет наша бригада.

А что если он его не поймет? Что тогда? Как в медицине с пересадкой тканей? Случаются же факты несовместимости.

В первый же выходной после того собрания мы на своих машинах отправились путешествовать. На этот раз, по предложению Мишки Федорова, поехали мы к его дядьке, в Калачаевку, где, по словам Мишки, рыбалка, каких в округе на сотню километров не сыщешь, ну, а рыбака, как его дядька, и по всей области не сыскать, и вообще он мужик хлебосольный, именитый по тем местам и сам по себе фигура интересная. Ковалевы всем семейством ехали с нами, впереди, конечно, Мишка с Рустамом и с семьей. Нурия не позвали, знали характер. Все равно отказался бы.

Ехали с небольшими остановками, почти целый день. Но вот сразу из-за березняка дорога, медленно изворачиваясь, начала укладываться по косогору. Внизу, за мостом, широко в зелени усадьбы, вроде как не по порядку, а где каждому удобно стоять, дома.

Минут через пять машина Рустама затормозила. Когда мы подъехали, сентябрьское солнце быстро шло за дальний лес. И как-то не по-городскому заметно вокруг все сразу начало блекнуть, терять настоящий цвет.

Во дворе высокий с круглыми тяжелыми плечами мужчина (они его будто тянули всего книзу, сдавливая волоса-

тую грудь) с полотенцем в руках и маленькая светловолосая женщина. Она, приложив руку козырьком ко лбу, внимательно разглядывала, по всей видимости, с удивлением наш кортеж.

От крыльца до ворот было всего несколько метров, но, пока осторожно ступая — он был босиком — хозяин пропал из виду, женщина уже приглашала нас, все еще настороженно вглядываясь. Хозяин, узнав Мишку, обрадованно приветствовал: — Заходите, заходите, гости редкие! Сейчас я отопру! — И чтобы загладить неловкость, оттого что чужие люди видят его в таком несолидном виде, объяснил:

— Я вот только что с поля, да и в Совете задержался. Заходите. Миша, приглашай гостей. Жаль вот, Ванюшка еще в поле... да заходите, а я сейчас. — Он пальцем ткнул в грудь: дескать, оденусь, и вприпрыжку, приседая на коленных под босой ногой камешках, засеменил в избу.

Я еще посетовал Мишке, что не вовремя мы приехали, но хозяин, уже одетый, вновь спустился с крыльца, приглашая в дом.

— А омутки твои как, дядя Семен? — поинтересовался Мишка.

— Эх! Приехать бы вам чуточку позже, ну пусть через неделю, — сокрушался тот, — сейчас же во! — Он провел ребром ладони по шее. — На ночь и то не всегда приезжаем. Сегодня, говорю, срочно правление заседало, пришлось на пару часиков раньше. Хлеб ведь! Не дай бог занепогодит. Спим и во сне его видим. Проглядишь его время, и беды не обобраться.

Здесь-то я увидел Ларису. Мы все стояли еще во дворе, когда в раскрытую калитку вошла тоненькая маленькая, как мне показалось, девочка, с большим деревянным ящиком через плечо.

Она оглядела сначала нас всех, взгляд у нее острый, а глазки узенькие где-то под челкой... потом, вскинув голову, отчего челка тяжело всколыхнулась, представилась всем сразу: — Лариса! — и пошла к сараю.

С виду совсем пацан. На ней были старые джинсы, какая-то кофточка.

— Художница! — объяснил хозяин. — Приехала мой портрет писать. Начальство заказало. Как заслуженному механизатора.

— Так. Ванька с вами живет? — спросил Мишка,

— Вместе на комбайне со мной. Второй год.

— А с институтом, выходит, не вышло?

— Тут сразу не разберешь, — как-то нехотя ответил хозяин, и я понял, что разговор этот неприятен ему, поэтому и ввязался в него.

— Уж больно Михаил нахваливал ваши места: рыбалка, говорит!

— А что нахваливал, так оно и есть! — Хозяин поправил рукой свисающий на висок чуб, — Давайте малость перекусим, и я вас сразу на свое заветное. Мишка знает... Помнишь, — обратился он к нему, — мою заимку?

Мы начали было отказываться, но тут вмешалась хозяйка.

— Что это вы со своим уставом в чужой монастырь, — весело выговаривала она, разжигая печь во дворе. — Чтобы от Федоровых гости голодом уезжали, да где это видано!

Застолье радовало аппетитным запахом маринада, солений, темными бронзовыми боками копченой рыбы. Приветливость хозяйки и веселая разговорчивость хозяина рассеяли нашу неловкость. Ковалевские девчонки бегали по двору, как по своему собственному, сорвали цветок, поймали кошку, но когда Гая хотела приструнить их, хозяйка остановила ее:

— Пусть себе поиграют, пусты!

За столом совсем незаметно как-то и вписалась в нашу компанию Лариска. Она сидела рядом с моей женой, и довольно быстро они нашли общий язык. Время так незаметно шло, что не успели вроде мы и за стол сесть, как совсем стало темно.

— Ну, нам пора, — поднялся хозяин, — ты бы нам, мать, кой-чего собрала.

— А меня с собой возьмете? — У Лариски голосок оказался тонкий и, как мне показалось, игривый. — А то я все одна да одна. А у меня не клюет и не клюет.

— Вот и неправда, — вставила хозяйка, — а сегодняшнюю уху из чьей рыбы варили?

— Возьмем, возьмем, — согласился Мишка.

До заемки, маленькой полуразвалившейся избушки на берегу почти совсем пересохшей протоки, было километров шесть-семь. Так что не успел, черно мелькнув, исчезнуть последний деревенский дом, как повеяло рыбной сыростью. В избушке нашелся огарок свечи. Его засветили. Хозяин достал из тайничка рыбакские снасти, отошел и пропал в темноте. Мы натаскали хворосту, запалили костер.

И хоть огонь трещал, но вокруг стояла такая тишина, для нас горожан непривычная, что кто-то из ребят сказал:

— Даже слово боязно сказать.

— Ребятишки уж спят, наверное, — про свое вспомнила Галина. Вот здесь-то Борис и вставил:

— Все у тебя ребятишки да ребятишки, как наседка с ними. Вон посмотри на Надю. Училась бы у нее.

— Чему же это? — Галя сидела по ту сторону костра, а мы по эту, но по голосу можно было понять, что замечание мужа ей пришлось не по душе. — Сам-то, сам-то погляди на себя.

Но в это время зашуршала галька. От невидимой, только угадываемой стены кустов будто отделилась человеческая фигура. Потом опять пропала, и неожиданно над берегом появилась голова хозяина.

Собрались в избушке. Было тесно и весело. Маленькое пламя огарка кидало на стены и низкий потолок огромные тени. Они шевелились, сталкивались, прятались в темных углах. Мы достали консервы, хлеб, а хозяин высыпал на стол из мешка свои припасы: картошку, огурцы. Пить не торопились. Каждый вспоминал какой-нибудь случай из

своей деревенской жизни. Удивительно. Все мы горожане. Но вот нашлось же у каждого деревенское в памяти, если не свое, так из рассказов родителей.

— Что ж это мы! — спохватился хозяин. — Разговорились. К столу пора.

Тут все заторопились. Хозяин выдохнул, а когда поставил стакан на стол, опустил голову. Огарок еще тлел.

— Хорошо, ребята! Жить на свете хорошо.

И какая-то пауза случилась, ее тотчас Мишка прервал:

— Ну прямо как у нас в лаве, только что там без закуски! — Все засмеялись, а хозяин поднялся, загородив собой синюю дыру двери, потом обернулся к нам вполоборота, чуть приоткрыв ночную синь: — А ну, ребята, выдь скорее, выдь, говорю, что сейчас будет, — и сам шагнул в ночь.

Мы все высунулись из избушки и сразу же почувствовали сырую прохладу ночи.

— Что за цирк, дядя Семен? — веселился Мишка.

— Да вот туда, туда глядите, как начинается луна. Туда, к лесу. — Там над чернильной плитой невидимого леса ширилась и бурела полоса. Вдруг она сгорбилась чуть посередине. Быстро, прямо на глазах, выпуклость эта кругла, вырастая над темными зубцами ночного леса. И вот уже полилась в настороженную темноту, разбавляя ее, оранжевая радость крупного света. Он ложился на траву, отчего та стала блестящей и казалась звонкой.

— Ой, мамочки! — тонко вскрикнул кто-то из женщин, и мне показалось, что это Лариска. А хозяин, вроде он был творец этого чуда, с гордостью спросил:

— Что, Миша, похоже на твою шахту, а? Видал ты там такое?

Тут кто-то подбросил хворосту в совсем было уже упавший костер, пламя вскинулось и словно собрало вокруг лунные блестки. Все стояли молча.

— Вот окончу техникум, — ни к кому не обращаясь, заговорил Борис, — и буду на наших обвалах сады разводить. Знаете, — это он говорил хозяину, — вокруг города

огромные пустыри с обвалами. Это еще что, вы бы видели разрезы. Глядеть страшно. Такие кратеры, что тебе вон там на луне. И все мертвое. Земля мертвая. Смотреть страшно. А ведь можно же на этих обвалах деревья садить. Ту же облепиху. Знаете, что это за чудо? От всех болезней. У меня в саду пара кустов растет...

— Ты уж с этим своим садом, — перебила его Галина. — Всех заморочил и себя в первую очередь...

— Можешь не морочиться — не заставляю, я уже тебе говорил, — оборвал ее Борис. — Ты, кроме кухни, видеть ничего не желаешь.

После этих-то слов она и заплакала. А я рассердился. Рассердился на то, что испортилось у всех настроение, что было так всем хорошо — и на тебе. Женщины принялись уговаривать Галку, а я, не сдержавшись, всыпал:

— Что вам дома не хватает для выяснения отношений. И потом, зачем же ты, Боря, работаешь с нами, если у тебя душа-то вся в облепихе? Какой же ты после этого горняк? Пусть этим делом садоводы занимаются.

— А в чем ты меня упрекнуть можешь? — рассердился Борис. — Я хуже других работаю? А мечтать мне никто не запретит. Может быть, у меня и мечта эта появилась после того, как я понял, что своими руками землю калечу. Понимаю: необходимость. Вот и пусть одни эту необходимость творят, а другие исправлять их грехи будут.

— По-твоему, так и вовсе шахты бы закрыть?

— По-моему, неплохо было, если бы человек умел все так же с умом делать, как природа делает.

— Так он же царь природы! — вставил невидимый Мишка Федоров.

— В том-то и дело, что царь. Да еще такой, как ты. А пора бы человеку и хозяином быть.

— А что я? — обиделся Мишка. — Я вон даже тебе эту облепиху собирать помогал, чтоб ей пусто было, такая колючая. «Такой, как ты», — передразнил он. — Я, может быть, еще не нашел себя!

— Это уж точно, Миша, найти ты всегда что-нибудь найдешь, — и все засмеялись Борисовым словам, засмеялся и сам Мишка...

И все-таки, подумалось мне, человек должен делать одно дело. Обязательно одно — в этом его сила.

Вечером в понедельник, вернувшись с работы, к своему удивлению застал я у нас в доме Лариску. Когда я пришел, они смотрели с Надей телевизор. Лариска сидела в кресле под торшером и курила мои сигареты.

— Ты, Толя, не возражаешь, — по-свойски спросила она, — что я тут у тебя похозяйничала, совсем, понимаешь, поиздержалась.

Я ее впервые как следует здесь и разглядел. Была в ее детско-птичьем лице — носик совсем как клюв — необыкновенная серьезность. Я уж потом, когда ужинать сели, сообразил, что у них разговор шел о нашей поездке, а точнее, о хозяине, у которого ночевали. А до этого я спросил себя в ванной, когда умывался: «Что этой пигалице в штанах с баюром надо у нас?» У меня даже какая-то неприязнь появилась. Не по душе мне эти курящие девочки. В кино они смотрятся ничего, а вот в жизни я их не принимаю, что-то обманное в этом есть. Я не против, носи, что вздумается, но не по душе мне все это. Хотя, вот ведь стала же Надя носить брючный костюм. Сначала глаз вроде кололо, сейчас привык.

Я уж говорил, что подобных знакомых у нас не было, это и естественно, наверное, мы же больше своих шахтерских придерживаемся. И еще мне не понравилось то, что вот так вдруг взяла и заявила в гости. Мы-то ведь и знакомы по-настоящему не были.

— У меня в двенадцать с Хабаровском, — Лариска поглядела на часы, — переговоры с Женькой, с мужем, не опоздать бы.

Сели мы за стол. И, как бы ни в чем ни бывало, она продолжала про свое:

— Знаете, уж больше месяца я бьюсь над портретом.

Получается и похожим и колорит что надо, а все, чувствую, не то. И вот только там, с луной, я наконец поняла: не то искала. Он поэт! То есть в каждом человеке есть эта струнка, ее только уметь увидеть. Ведь вы же вот тоже поэт, Толя. Как вы говорили там!

Какой же поэт, честное слово, это она не совсем нормальная, может, так у них, художников, и должно быть, подумалось мне. А если кто и поэт, так это Миша Федоров, это уж точно.

Сейчас он сидит от меня справа в машине. Когда нас встряхнуло и многие из ребят громко и недвусмысленно помянули замдиректора шахты, Мишка даже глаз не открыл... Поерзал, устраиваясь поудобнее, да воротник брезентухи попытался на голову натянуть. И продолжал дремать.

И вдруг после того, как повторил свой вопрос ко мне Ковалев: — Почему же ты считаешь, что пустяки? — вопрос, от которого я, что случается редко, растерялся, потому что разговора-то не слышал и ответил наобум, Мишка неожиданно откликнулся:

— А это как в анекдоте. Один другого спрашивает: — Ты знаешь, что такое пустяки?

Шумливый, безалаберный он только с виду. У него какая-то странная первичная реакция неприятия. До смешного дело может дойти. Сначала я даже с ним ругался, пока не понял, что это по сути дела у него от большой совестливости, даже от боязни, как бы из общего строя не выскочить. Чтобы в нем ребята зазнайку не увидели. А вот не похвали его, скажи, что звено хорошо отработало и не упомяни Мишкиной фамилии, на неделю разобидится. И наоборот: похвалили его в стенгазете, поднял шум на всю шахту:

— Формалисты! В корень дела не смотрите! Почему только я? Кто крепь, скажите, передвигает? Не Ковалев? А нишу кто готовит! Не Сушкин? Ты, Токарев, как бригадир куда глядишь? Может быть, заруководился уже?

Не такое еще бывало.

Когда у нас однажды «взыграла» кровля и стальные секции плющились, как пластиновые игрушки, мы были на краю катастрофы. Я испугался не меньше Мишки и не меньше Бориса. И вообще я не верю в людей, не признающих реальной опасности и откращивающихся от страха. От него нельзя отмахнуться. Его можно только преодолеть. Не каждому дано двинуться ему навстречу в одиночку, но каждый, за исключением только подлеца, каждый пойдет в паре с товарищем. Каждый пойдет за тем, кто его поведет.

И я повел ребят. Потому что они меня выбрали бригадиром, то есть назвали меня своим ведущим, своим первым номером. Этот номер оправдывать надо всегда и везде. Если ты по-настоящему первый.

Поэтому, спокойно глядя в разгоряченное лицо бригадира, в лицо Николаю Золотареву, с которым на шахту мы пришли в один год и даже заканчивали вечернюю школу в одном классе, я подумал, что азарт, если он не подкреплен великодушием мастерства,—опасное состояние. Тебе кажется, что ты, смело и ловко манипулируя фактами и обстоятельствами, ведешь дело к выигрышу. И совершен-но не замечаешь, что в ослеплении не находишь иного выхода, как опереться на что-то ложное. Это тебе может по-дыграть один раз. И то только чтобы заманить дальше в болото бесчестия. Но и в подобном случае выигрыш твой будет предупреждением перед проигрышем, может быть, на всю жизнь. Так я подумал. А вслух сказал:

— Дуэли, к сожалению, не в моде. Драться не позволяет моральный кодекс. Упорно настаиваю на том, чтобы хоть одну смену Золотарев проработал в нашем забое. И только после этого считаю возможным вернуться к этому разговору.

— Согласен хоть сегодня! — горячился Золотарев.

И вот они в пятнадцатом пришли к нам. Два дня Николай с напарником осваивались и на вопрос: ну как условия? не-

определенного хмыкали. Понять пока было нельзя, изменил ли он свое прежнее мнение или остался при старом. Я поглядел его в работе. Хватка у него была. Было и то, что в спорте называют «злостью». В третью смену они уже работали во всю мощь. Батя наш чуть с ног не сбился, обеспечивая работу техники. Шенковых зубков, видимо, весь свой запас выгреб. Слесари у него всегда под рукой. Чуть остановка, они к комбайну. Ну, «Благодатный» наш в своем репертуаре. На колчеданы не скупился: поехал комбайн, пора ему скорость набирать, а тут скрежет такой — душа стынет. И если зубки не полетели, считай повезло.

— Ничего парни, подходящие! — резюмировал свои наблюдения Батя. Мы с ним стояли в нижней нише лавы. Хорошо было видно, как спускался комбайн. Но думалось, что перед Мишкой у них кишка тонка.

И пришли показать мы. На этот раз Золотарев со своими наблюдал за работой. Не успели проехать и десяти секций, как раздался дикий скрежет, и все поняли, что случилось. Шли минуты. Пока выпалили чертов камушек, пока заменили зубки — к счастью, не так их уж много пришлось менять, — страшно подумать, сколько времени прошло. О чем Золотарев думал в лаве, не знаю. В мойке он мне сказал, уж после смены:

— Если хочешь, то набей мне морду!

Я принял это как извинение. Поэтому хлопнул его по голой спине и протянул мочалку:

— Потри-ка лучше спину.

Потом сам ему тер. В мойке тоже без взаимовыручки не обойтись. А тогда в забое, я помню, как включил Мишку комбайн. Я еще стоял рядом. Осветил его своей лампочкой. Он очень походил на космонавта или летчика-испытателя. Респиратор придавал это сходство. И вот загудел двигатель. И Мишка как бы слился с машиной. У него имеется масса своих маленьких хитростей. Они не сразу бросаются в глаза. Нужно быть отличным специалистом,

чтобы их заметить. Они просты. Но непросто их придумать. Секунды и минуты работают у него на тонны. Вот едва только зубки, обежав, может быть, один круг, прочертили первую примерочную траекторию по угольной мощи, еще и не закончилась полностью выдвижка крепи, а Мишка уж начинает перегон комбайна с зачисткой дорожки. И «Благодатный» смирился. До самого конца смены не попался ни один кусочек колчедана, и комбайн не останавливался. До самого конца смены безостановочно бежали транспортеры. Потом, в мойке, мне Золотарев еще сказал:

— Федоров у тебя артист. Можно сказать, фокусник.

— Это ты брось, — я как раз намыливал голову, — фокус в шахте — дело дохлое.

Подумал: это ты хотел на фокусе выехать, но сказал:

— Мишка артист своего дела, верно, мастер, одним словом. — И зачем похвастался, я и сам не пойму. — Его портрет на выставке должен быть. Художница одна рисовала.

Правда, совратить я не соврал. С портретом действитель но целая история получилась. С того самого понедельника, когда она пришла к нам в первый раз, и до сегодняшнего дня, вернее, до вчерашнего вечера. Лариска совсем у нас прижилась. Каким-то непонятным образом эта остроносая девчушка (по сравнению с крупной высокой Надеждой она выглядела сущим подростком) стала для нас постоянно необходимым человеком.

И если поначалу мне совсем не нравились ее какая-то развязность, шумливость, дым ее сигарет, то со временем все это приобрело ту окраску своеобразия, без которого не мыслилась ее суматошная жизнь, наполненная главным образом невероятными смешными и грустными случайностями. Если Лариски долго не бывало, то она, прибежав, как всегда, откуда-то поздно вечером, бросалась к Надежде обниматься. Меня же, обхватив за шею, целовала в щеку, при этом смешно повизгивая. Она быстро обегала квартиру, как бы заново все рассматривая. В доме сразу ста-

новилось по-праздничному шумно и суетливо весело. Муж ее, тоже художник, постоянно бывал в командировках, приезжал, говорят, неожиданно и редко, а вскоре снова исчезал.

Представлялся он мне каким-то нереальным, хотя она посыпала куда-то вполне реальные переводы. И вообще мы мало знали о ней, о ее жизни. Она словно бы существовала в нашей какой-то странной выдумке. Видел я ее мужа только на фотографии, однажды, когда Мишка затащил меня в мастерскую Ларисы.

Я и не думал, что он поддерживает с ней знакомство. Оказалось, что Мишка привозил к ней своего дядьку, для того чтобы она могла закончить начатый еще в деревне портрет.

В выходной день я был один дома. Обидно летние выходные сидеть в квартире, но что поделаешь. Надя уехала к матери попрощаться Катюху. Я же не смог поехать, потому что «горгаз» как раз проверял состояние печей. Помня о том, как однажды чуть ли не месяц пришлось упрашивать о включении печи—нас не было дома во время подобной проверки,—мы и решили с женой, что лучше я останусь. Время уже приближалось к обеду, когда раздался звонок.

— Наконец-то! — обрадовался я. Но когда раскрылась дверь, разочарованно свистнул. Вместо ожидаемого контролера стоял Михаил Федоров и улыбался.

— Ну что, были? — спросил он, входя в квартиру.

— Да нет еще. — Это глупое ожидание действовало мне на нервы.

— Постой, а откуда ты знаешь, что я кого-то жду? — удивился я Мишкиной осведомленности. У меня не было привычки говорить на работе о своих домашних делах, а вне работы мы с Федоровым встречались довольно редко.

— Информационная служба не дремлет, — заулыбался он. — Более того, уполномочен даже пригласить в гости.

Мне ничего не оставалось, как развести руками. Зага-

дочное появление Мишки, не менее загадочное приглашение начинали заинтриговывать.

— Непонятно, — признался я, приглашая Федорова пройти. Однако не успели мы закурить, как вновь раздался звонок. На этот раз это был желанный «горгаз» в образе дородной веселой женщины. Вся процедура заняла несколько минут, за которые я успел поставить две подписи, и почувствовал себя свободным человеком.

Однако меня занимало все-таки, каким образом и где Мишка мог получить информацию о моем быте?

Оказалось все очень просто, но до удивления занимательно. Накануне Лариска была у нас, и Надя — а она и в самом деле еще в пятницу начала собираться в поездку — рассказала ей обо всем. Мишка же сегодня зашел к Лариске так, наугад. Двери мастерской оказались открытыми. Хозяйка работала. Она послала его развлекать меня и привлекла навестить ее, если захотим.

Ее мастерская располагалась почти на самом берегу реки на чердаке пятиэтажного дома. По дороге Мишка мне и поведал историю. После поездки в деревню, может быть, через неделю, они пришли с приятелем сюда, на «мансады», как художники называют свои мастерские. Потом его — наш клубный художник. У Мишки друзей-приятелей полгорода. Разыскивали они одного товарища.

...Сидим мы, комната большая, кругом банки с краской, фигуры разные, гири двухпудовые. Кто-то заходит, за столиком маленьким, а может, это ящик какой, не поймешь, рюмочки из старинного серебра. И вдруг Лариска зашла. Меня увидела, обрадовалась. Я тоже. И говорит: обязательно ко мне зайдите. Минутки через три и дергает за рукав. А это тут же, только в другую дверь. Там у нее дядькин портрет посередине стоит.

Понимаете, говорит, Миша (она меня на вы), ничего не могу сделать. После той нашей встречи что-то, чувствую, нашла, но теперь мне натуру надо.

Будет, говорю, натура. У Пашки в пятницу мотоцикла

на два дня выпросил, скатал за дядькой. Он у меня тоже шустрый, мы, Федоровы, все такие. Без разговоров в люльку сел. Когда я его привез, она так и ахнула:

— Добрый вы мой ангел, Миша.

И понимаешь, обняла и поцеловала. Сначала так рукой волосы откинула за плечо, они у нее густые, длинные, а сама, ты же видел, как куколка, на нее только и глядеть! И понимаешь, поцеловала. Вот с тех пор я бываю у нее. В кино ходили, в ресторан. А тут она обещала портрет мой нарисовать. В шахтерскойrobe. Ну и пусть, думаю.

Как-то прихожу, а она заплаканная. Я стал допытываться, она как бросится мне на шею да в слезы. В общем, дело у нее с мужем дрянь. Да он фактически не муж. Даже не расписывались. А я вот с тех пор думаю все, что и у нее ко мне что-то тоже есть.

При этих последних Мишкиных словах, а он их произнес уже на лестнице, мы проходили четвертый или пятый этаж, я поглядел на него. В сумеречности плохо освещенного подъезда лица разглядеть было невозможно, но серьезность, тон, каким слова эти были произнесены, меня озадачили. Не очень это походило на Мишкины веселые приключения.

А вот в мастерской у Ларисы оказалось очень светло и уютно. Комната разделялась ширмой на две, большую и маленькую. В большой у окна — стол, стулья и много цветов: на окне, на столе, даже на полу.

Посреди комнаты на деревянной подставке портрет Мишкиного дядьки. Не знаю, в нем, может, чего и недостает, но лично мне очень понравился. Он, как раз он самий! Хотя, может быть, и чуть другой, больше походит на того, яростного к жизни мужика, которого узнаешь не по первой встрече.

На удивление, Лариска приняла нас непривычно тихо, как-то даже чопорно. Она отложила кисть, вытерла руки, закурила.

— Миша, зайдешься кофеваркой? — спросила она. И я, мельком взглянув на Мишку, увидел, как он весь расцвел:

— Что за вопрос? Это у нас мигом.

И порадовался я за парня. Теперь уж другой совсем увиделась мне и Лариска. Она и в самом деле была красивая. Может быть, оттого, что я видел ее в привычной для нее обстановке? Всякая угловатость, ребячливость куда и подевались. В ее жестах я даже уловил что-то знакомое, деловитое. И когда она повязала поверх брюк передник, взяла в руки чашки, я понял: что-то такое появилось у нее от Надежды. И вот сейчас я думаю: наверное, во всех хозяйках, когда они у себя дома, есть нечто схожее — в заботливости, хлопотливости...

— Мишка говорил, что ты его портрет собираешься писать, это бы здорово! — Я ходил по мастерской и рассматривал картины, стоящие на полу и висящие на стенах. Ценитель я, конечно, никакой. Но то, что я увидел, мне очень нравилось. Все это было от жизни, все светилось и грело теплыми красками лета. Было везде только одно лето. Поляна белых ромашек. Берег реки с купальщиками и даже остановка трамвая около нашей шахты на фоне старого уже заросшего кустарником террикона.

Одна картина была занавешена. Я приоткрыл ее и замер.

Мне показалось, что я взглянул в зеркало. Только почему-то показало оно мне меня каким-то незнакомым. То есть себя я узнал, конечно, но не такой я был на самом деле. Лариска словно взметнулась. Она как бы пролетела то расстояние, что отделяло стол, у которого она стояла, и угол, в котором находился я:

— Неприлично. Если закрыто, значит, нельзя смотреть.

Мне стало неловко, как будто я и в самом деле заглянул в чужую дверь без спроса. Пытаясь хоть как-то оправдаться, пробормотал:

— Я думал, что тут Мишキン портрет... и не подозревал. Только уж больно тут я такой...

— Ты, Толик милый, ничего не видел. Ясно? Забудь. Не видел. А вообще... — Она не договорила, появился Мишка с кофейником, может быть, потому, что не знала или не хотела сказать, о чем думала? Он вошел шумный, веселый, каким, собственно, он и был всегда. И как всегда и везде, и в этой комнате был он свой человек, знал и умел найти себе дело.

— Я сейчас анекдот один вспомнил, — прямо от дверей начал Мишка. Мне же подумалось, как неожиданно в этой странной чердачной комнате открылась мне чужая тайна, причастность к которой почему-то обеспокоила меня.

Не знаю, как я еще просидел около получаса, не более, и, сославшись на то, что надо встречать жену, благо нашелся предлог, ушел. Меня особенно и не задерживали. Мишка — из чисто эгоистических соображений влюбленного, в чем убедиться особого труда не составляло, хозяйка, как она выразилась, — из сочувствия и понимания моего семейного долга. Вот какая история вышла с Мишкиным портретом.

...Сейчас как раз ребята все смеются над анекдотом, который он рассказал. И я рад, что Борис наконец от меня отступил со своим допросом. И у меня еще несколько минут, судя по мелькнувшим в окошке веткам маленьского березового колка, как раз есть несколько минут до того, как машина докатит до места.

Если Надя приехала, то она уже давно дома, опять подумал я. И вспомнил: пепельницу я не высыпал. А в ней Ларискины окурки! Хотя что тут особенного? Лариска же не впервые приходила в Надино отсутствие! Или на этих окурках написано, когда их курили. Да очень нужно Надежде все это.

А если она не приехала? Я не люблю, терпеть не могу неопределенности и неточности. Самая неприемлемая для меня черта в характере человека — необязательность. У

нас в бригаде таких нет. Поначалу были. Но недолго. Я не могу работать с ними. От их присутствия и в тебе самом появляется неуверенность. Это же все равно, что по болотной хляби идти, не ведая брода. Один из тех парней перед уходом сказал мне:

— Ты диктатор! И кто-нибудь свернет тебе шею, а может, и я когда-нибудь, при случае.

Он пообещал подменить в ночную слесаря. Теперь уж и не помню, зачем тому понадобилась подмена, но у нас такое случается. Они между собой договорились, слесарь предупредил звеньевого, тот мастера. А парень не вышел на смену. Страшного ничего не произошло. Смену отработали нормально. Слесарю, правда, начальник объявил строгий выговор за прогул. Он не обиделся. Все мы понимали; и сам начальник, что прав он формально, как и формально прав оказался парень, предъявив в оправдание медицинскую справку. Но я ему сказал: — Катись ты со своей справкой!

Ребята его пожалели. Но я настоял. Может быть, и жестоко. И все одно не каюсь. Он ушел из бригады. Потому что я не уверен, что и в другой раз, по-настоящему в трудный или опасный момент, не прикроет ли он свое разгильдяйство медицинским свидетельством.

В тот летний день, когда я вернулся от Ларисы, то первым делом принялся за уборку в квартире. Но уж если тебе чего не дано, так хоть лоб разбей, а все равно испортишь дело. Особенно, если очень стараешься. Одним словом, благодарности от жены я не получил.

У нее, оказывается, тоже не обошлось без приключений. То, что продали два билета на одно место, это обыкновенная неприятность, на которую и внимания не стоит обращать. Самое удивительное, на предпоследней остановке перед городом, на Совхозной, встретила она семью Ковалевых, ездили к какому-то садоводу глядеть, как у того виноград растет, естественно, на предмет разведения у себя.

Почему же мне в мельчайших деталях запомнился ее рассказ? Она говорила, что Галка была в спортивном костюме, с рюкзаком за плечами. Лицо загорелое, аж брови белесыми стали, Кирка совсем одуванчик, волосы распушились на ветру, сама же черная как уголек. Борис тоже с рюкзаком да еще с толстой суковатой палкой в руке.

Вот почему я запомнил это... Когда она сказала, что приглашали за ягодой в сад (ее там уйма уродилась) и Галка ей по секрету сообщила о том, что собирается произвести на свет еще и Кольку, на Надином лице вроде бы тень мелькнула. Если и появились презрительные складочки в уголках губ, то было это внешнее. А ее красивые большие глаза, ее голос, в котором преобладали нотки снисходительного удивления, не могли скрыть зависти. Зависть... А ведь это самоистязание. Покаянное, непокаянное, оно мучительно. Вот почему я запомнил тот вечер.

А жена стала рассказывать про дочь: как и куда они ходят с бабушкой, как она там капринизирует и командует.

— Знаешь, мама Надя, — сказала она мне, — деда наш такой старый, что жил аж до войны!

— Да разве это старый! — удивилась жена. — У нее глазенки вот так открылись, — она показала руками, и я представил себе Катюхину мордашку, и стало мне некорошо, неуютно и обидно. — И говорит она: — А ты и папа, вы же не жили до войны? И я не жила!

— Надо нам ее забрать! — Я вложил в эти слова всю силу своего умения убеждать, но, к удивлению, этого и не нужно было.

— Я тоже устала. И не могу больше слышать, как она меня Надей зовет! Лучше уже я брошу эту учебу.

Может быть, жена бы и заплакала, хотя женщина она и не слезливая, но я вмешался, отвлек, начал рассказ о своем визите к Лариске. Она очень заинтересовалась моими предположениями насчет Мишки Федорова. Только про портрет я не сказал. Совершенно не умышленно. Сразу не сказал, а потом уж вроде бы и неуместно стало.

Пока еще нас троих не связывало ни одно слово. Пока мы еще были (и я, видимо, думал, что так и останется) тем, кем и были друг для друга всегда, до появления Лариски и после. Однако отчего же было не сказать? Что же я пытался скрыть? Чего боялся первый раз за всю жизнь перед матерью своей дочери, перед единственной и любимой женщиной?

Я тогда не искал ответа, а интуитивно, видимо, счел такой исход наиболее благоразумным. Как было знать, что от подобной благоразумности до непоправимого один шаг.

...Нас всех толкнуло вперед, мягко толкнуло, значит «газик» пошел под гору, можно считать, что мы уже и приехали. Сидящему в кабине уже виден подъем, квадратная башня клетевого ствола. Значит, еще с десяток-другой минут, считая спуск в шахту, минут двадцать на электровозе, и мы на месте. Сегодня в лаве нас ждет Батя. В ночную он пошел, чтобы проверить последний раз все узлы нашей машины. Это я так думаю. Сам-то он что-то о гидравлике говорил, насосы хотел вроде поглядеть. Но это для отвода глаз. Такой уж он беспокойный старик. И тактичный.

Официально мы сегодня опробование должны начать. Вернее сказать, работать. Опробывали мы ее еще несколько дней назад. Разную мелочевку, в основном в подключении электрокабелей, за это время слесари устранили. И вот сегодня нишу у нас будет готовить Гриша Шамов, не вручную, а машиной. Нашей собственной. И пусть говорят, что это невеликое дело, что, можно сказать, мы велосипед изобрели. Однако если нам на этом велосипеде удобней и быстрей ехать, так почему бы и нет! С ним, если хорошо пойдет, попробуем и мы в люди выйти. То есть в шеренгу тысячников стать. Всух об этом и думать страшно, поэтому я никому из ребят еще ни слова. Время покажет. В хвастунах ходить не люблю.

А признаться, водился за мной такой грех по молодости. Но Батя отвадил. Незаметно все вышло, само собой вроде. Только я-то знаю.

Было это уж совсем в старые времена, когда пришел на шахту первый комплекс и нашей бригаде, тогда еще Геннадия Воронова, предстояло на этой технике добывать уголь. Разва два с бригадиром — я был звеньевым — мы ездили поглядеть, как же с этим чудом управляются на других шахтах. Комбайны уже были знакомы. А комплекс? Сразу и объяснения не найдешь тому ощущению, которое испытал я, попав впервые под комплекс. Светло, порода и уголь зачищены. Удивление — не удивление, оторопь — не оторопь.

Когда Катюха стала уже большенская, то есть топать начала, привез я в гости свою бабушку, ей тогда уже девятый десяток шел, чтобы поглядела на правнучку. Бабушку тоже Екатериной звали. А жили мы еще в молодежном общежитии, на шестом этаже.

Бабушка складу была широкого, кой-как ее на заднее сиденье в такси уместили: на переднем, шофер говорил, мешать будет управлять машиной, но в ногах крепкая, правда, медленно уж очень передвигалась.

— Так по моей дороге, милай, — шутила она, — торопиться-то и не к чему, к боженке я некодысь не запоздаю.

И вот привез я бабушку. К лифту подвожу и все ей объясняю:

— Лифт — это машина такая, она нас и довезет до самой до маленькой Катьки. — Бабушка все поняла. Лифт опустился, двери распахиваются, а моя старуха давай креститься. За нами народ. Я ее в лифт, она упирается.

— Это куда же, внучек, ты меня волокешь-то?

С трудом затащили мы ее. Ну и поехали. Уже на четвертом этаже бабушка в себя пришла. Все ж таки к технике нынешней старики адаптированы непдохо. А на шестом не хочет выходить, и все.

— Давай, — говорит, — еще покатаемся. Уж куда лучше, чем в такси этой.

Примерно так и я себя чувствовал в пору знакомства с комплексом.

Когда вагоны с оборудованием пришли, начальник шахты вызвал всю нашу бригаду к себе.

— Готовы, Степан Гаврилович? — спросил он у Бати. — Ребята справлятся?

Тот вроде впервые увидел нас. Со стороны так посмотрел.

— Кто с тонкой кишкой, через два дня узнаем, Сидор Васильевич, по моим наблюдениям вроде таких и быть не должно.

Таких и вправду не оказалось. А мы с утра рабочий день начинали как тяжелажники. Разгружали секции из вагонов. Вечером в студентов превращались. Под руководством приезжего инженера, специалиста по комплексам, и под присмотром Бати в учебном пункте долбили теорию эксплуатации. До болтиков, до винтиков разбирали и собирали основные узлы агрегата, изучали приемы монтажа. Заглядывал в учебный пункт и кто-нибудь из любопытных. Посидит, послушает, рукой только махнет и уходит. Не очень верили на шахте в эту затею. Да что говорить. И в бригаде спору было хоть уши затыкай. Как перекур, так спор.

Вот в один из перекуров подошел ко мне Батя, помолчал и спрашивает:

— Ты, Токарев, почему не учишься?

Не понял я его. Улыбнулся так.

— Что ты, — говорю, — Степан Гаврилович. Как все. Хочь у преподавателя спроси.

— Я не об этом, — неторопливо, выпустив облачко дыма, сказал Батя, поглядел, куда оно полетело, как рассыпалось, рассеялось. — В техникуме, в институте? Голова у тебя, замечаю, варит. А ты ей ходу не даешь, без работы зарожавеет она у тебя.

— Какое тут! — Я сам засмеялся. А смешно мне стало оттого, что был подобный разговор в комитете комсомола. — Не по мне науки. Я рабочий. По складу своему рабочий. Отец у меня рабочий был. Да и зачем? Денег у ме-

ня не меньше твоих, верно? Скоро на машину накоплю, очередь на квартиру подходит. На юге всей семьей каждый год бываем, чего мне еще надо, скажи?

Погладил он свой шрам. Ухмыльнулся. Привычка такая у Бати. Когда задумается, шрам на левой щеке гладит, широкий красный след от ожога, он в танке горел на войне.

— Смешной круговорот получается, оказывается, в жизни. Ну точно слово в слово я это говорил сам. И был я, правда, тебя постарше, и повидал я не курорты, а противотанковые фугасы, и, кстати, был уже членом партии. Не те детали, а вот слова те же.

Меня как будто по самолюбию кольнуло. Выходит, что я не сам до всего додумался, не своим умом живу.

— Не знаю, — говорю, — Степан Гаврилович, про какие слова речь. Но ума я не занимал и не буду.

— Ну и дурак! — спокойно и совсем не обидно заключил Батя. — Да еще и хвастун. Ладно, все равно перекур, послушай-ка ты одну историю.

Бедь в самом деле, в свое время Батя так же, как и я, ответил начальнику шахты, когда тот, пригласив к себе бригадира слесарей, сказал:

— Давно к тебе приглядываюсь, Анисимов. Хоть сейчас механиком ставь, а почему не учишься?

— Я рабочий, — сказал Батя. — У меня руки есть и к ним голова. Денег могу дать взаймы, если хотите. Дом есть, жена, дети, к чему голову забивать? Да я с любым техником потягаюсь по части механизмов.

С тем он и ушел. А через неделю его снова пригласили в большой кабинет на втором этаже шахтowego комбината. И опять о том же речь пошла. Что же такоеглядел в бывшем танкисте старый инженер, почему настойчиво посыпал его на курсы мастеров?

— Ну к чему мне эти науки. Я любую машину соберу и разберу без всяких подсказов, — упрямствовал слесарь.

Когда начальник в третий раз вызвал Батю, то не успел тот войти, как услыхал вопрос:

— Ты знаешь про атлантов?

И не моргнув глазом, тот с достоинством в свою очередь спросил:

— А где такая нация живет? На Балканах? Я там не был. Нас сразу в Чехословакию кинули.

Он не засмеялся, старый инженер. Может быть, ему стало просто грустно, а, может быть, поэтому он так настаивал на его учебе, что понимал: корни невежества талантливого умельца уходят в трудное время сиротства и войны?

Почему я так настойчиво говорю об учебе? Да потому что наука в конечном счете та опора, которая помогает человеческому разуму нести на своих плечах бремя ответственности перед всем живым и в первую очередь перед самим собой.

Сейчас этого не разглядеть еще в наших постоянных повседневных заботах. И тебе кажется, что если ты умеешь отремонтировать отбойный молоток, врубмашину, конвейерный пускател, если ты сыр и можешь даже давать взаймы, то ты достиг всего отведенного жизнью.

Но пройдет совсем немного времени, и ты поймешь всю ничтожную малость этого. Однако есть в человеческой жизни одна коварная черта. Опоздание. Если ты опоздал в жизни, к этой черте возврата нет.

— Так кто же будет работать в лаве, если все станут грамотными? — полюбопытствовал бывший танкист, выслушав не очень для него понятные рассуждения.

— В лаве будут работать механизмы, которыми будут управлять грамотные люди.

Разговор тот состоялся не так уж давно.

— Но у меня даже ручки своей нет. За ненадобностью и не держу, — признался тогда Батя, давая этим понять, что в общем-то он согласен. Начальник шахты протянул свою шикарную с вечным пером автоматическую ручку.

Так слесарь Анисимов попал на курсы горных мастер-

ров. Об этом горный инженер Анисимов рассказывал мне во время перекура, когда мы готовились к монтажу первого на нашей шахтё угледобывающего комплекса. Может быть, и не совсем в таком русле шел разговор. Но суть его в моем мозгу сохранялась до поры до времени заботой и раздумьем, и без этого, может быть, я так бы и не поступил в институт. Только к чему все догадки? Не в них теперь соль.

И вот наш газик остановился. Синее утро обдало резкостью, пронзительной живительностью уже настоящего на приближающихся морозах воздуха. И хоть поеживались все, но в клетевую шли не торопясь, вдыхая этот воздух, как пьют родниковую воду, короткими глотками и долго.

Пока мы дожидались клеть снизу, Мишка (он оказался рядом со мной) спросил:

— Лариса часто заходит? — На эту тему мы вообще ни разу с ним не говорили. А он как-то растерянно, доверительно добавил — Я, понимаешь, хотел все по-человечески. Как у людей чтобы. Бросай, говорю ей, волынку с этим пижоном и давай поженимся. А она, понимаешь, в другую сторону. Бросать, говорит, пора тебе, Миша.

В это время из черной ямы ствола вынырнула клеть. Поднималась ночная смена. Вот и мы уже за железной дверью. Звонок. И из-под ног у нас обрывается опора. Мы словно зависаем на миг и начинаем падать. Привычное состояние, но всякий раз неожиданное, тревожное и радостное. Может быть, такое случается и там, когда приходит невесомость?

Мишка стоит со мной плечом к плечу. Я о их разговоре с Ларисой знал раньше. То есть я узнал вчера, поздно вечером. Когда я услыхал звонок, резкий, короткий, одинокий, то почему-то вздрогнул. Поздние гости в нашем доме не были в диковинку. И тем не менее, когда, открыв дверь, я увидел на пороге маленькою остроносую Лариску в ее детском капюшоне, отчего-то растерялся. Может быть, даже от радости, что хоть не одному мне весь вечер коротать?

Надежда опять уехала к теще. Однако Лариска заметила паузу:

— Не хочешь и впустить? Я же совсем уже стекляшкой стала! — Она засмеялась. Смех ее нельзя было спутать ни с чим. Его всегда можно было узнать, если хоть однажды приходилось его слышать. Он начинался с какой-то тоненькой, протяжной нотки, которая переходила потом в радостное повизгивание.

Так было и на этот раз. Она проскользнула боком мне под руку, пока я какое-то мгновение стоял в растерянности против открытой двери. Осторожно прикрыла ее, оперлась спиной о шершавый дерматин и тоненько хохотнула. Затем она расстегнула свой капюшончик, повернулась резко спиной и сбросила его мне на руки.

— Толик! Зима! Настоящая зима. — Она с такой яростью терла ладонь о ладонь, что казалось, из них вот-вот должен пойти дым и они загорятся. Капюшончик ее был из какой-то клетчатой легкой материи, как говорится, на рыбьем меху, и совсем не соответствовал метеоусловиям.

Лариска, как это делалось всегда, уселась в кресло под торшер, бросив на столик свою сумочку. Она у нее была большая, замшевая, в бахроме, удивительно вместительная. Она что угодно могла достать из нее: книжки, кофе, пакеты с супом, баночки с кремом. На этот раз она достала пачку сигарет «Аполлон-Союз» и бутылку «Токая». Все это она проделала молча, быстро. И только когда прятнула мне пачку сигарет, приглашая закурить, хитро подмигнула и засмеялась. И от ее доброго смеха как будто по-теплело, а она еще и встала, включила телевизор и только тогда поинтересовалась:

— Куда это ты хозяйку услал, когда в такую погоду добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит?

— Опять она к теще уехала. А я вот за домового.

— Ой, как не хорошо. — От огорчения маленькое лицо ее сморщилось. — У меня же событие! Две мои работы отобрали на зональную выставку. «Лето», ты видел этот

холст: старый террикон, на нем деревья. И «Портрет рабочего».

С тех пор, как мы с Мишкой были в мастерской и я нечаянно прикоснулся к ее тайне, у нас с Ларисой ни разу не было разговора на эту тему.

После нашего визита к ней, помню, появилась она у нас не ранее чем через неделю. Рассказала Надежде о том, как мы пили кофе и какой Мишка мастер его готовить. А я сидел, просматривал свежую газету и ждал, когда же она скажет о портрете. И уже приготовил какую-то фразу, как мне думалось, способную нейтрализовать ее неизбежное сообщение. Но она или забыла, или не сочла нужным об этом и вспоминать, за что я ей был очень признателен. Поэтому как уже не смог бы объяснить ничем свою первую ложь. Наоборот, в той фразе, которую я придумал, было как бы продолжение этой лжи. Вот почему я с облегчением вздохнул, когда разговор у нас пошел о чем-то другом. А осадок неприятный остался оттого, что Лариска совсем уж ни к чему — может быть, мне это показалось — многозначительно поглядела на меня.

Не таким, как всегда, взглядом посмотрел я сейчас на Лариску, и веселая бесшабашная девчушка совершенно исчезла. Напрочь. Против меня сидела, забившись в уголок кресла, женщина с грустным взглядом усталых глаз.

— Нет, это не тот портрет, о котором ты думаешь, — спокойно произнесла она и взглянула на меня. — Что же, хозяин, позвольте мне похозяйничать и угостить вас? — Она неожиданно, по-спортивному опервшись на подлокотники кресла, вскочила и из серванта достала рюмки. Быстро застелила журнальный столик бумажной салфеткой. Прежняя девочка-птичка, весело щебечла, порхала по комнате.

— Толик, пока я помою фужеры, ты откроешь консервы. Есть же какие-нибудь консервы? По-моему, должно быть в холодильнике еще что-нибудь посущественнее, верно? Жена на голодную смерть тебя не бросит, у нее эта

забота на первом месте. И бутылку... бутылку не забудь открыть.

Она повязалась Надиным передником, бегала из кухни в комнату и обратно. Успела даже на ходу рассказать анекдот. Опять смеялась. Но когда она, сидя снова в кресле, подняла бокал с вином и, протянув его в мою сторону, чуть задела выпуклым его боком о бок моего бокала, в тонко ласковом звоне их как будто прозвучали обещания и предостережения. Мне и сейчас слышится этот долгий уга-сающий легкий звон.

— А знаешь, между прочим, Михаил сделал мне предложение, — неожиданно, после того как отпила половину из бокала, объявила она.

...Сейчас, в эту секунду, может быть, уже последнюю перед остановкой клети, мы стоим рядом с Мишкой. Клеть стремительно летит в шахту. Она притягивает нас, как космический корабль сама Земля, и так же осторожно вот-вот примет на свою твердь.

— Зачем ты парню крутишь мозги? — спросил я вчера у нее. — Правда, Мишка не из тех, кого можно сбить с панталыку. Но все-таки?

Лариска поставила бокал на стол.

— Толик, дай мне чем-нибудь укрыться. Все не могу согреться. — Лариска совсем съежилась и уже походила на воробушка. Я принес ей плед. Она укуталась в него так, что торчала одна головка. Волосы застлали глаза. Она помотала головой из стороны в сторону, но это не помогло. Тогда она высунула руку, откинула пряди назад, взяла в руки бокал.

— Понимаешь, на днях у нас был балдеж небольшой. Закончился совет, и разошлись по мастерским. Сначала по своим норам, потом, естественно, братание. Я совсем забыла, что у меня с мужиком на десять переговоры. Миша пришел часов в восемь. Последнее время он частенько бывает у меня. Добрый он и нежный. Внешне кипишной, а в действительности нежный... да? Я знаю, что нравлюсь ему.

После вина, голова закружилась. Вспомнила как раз про телефон. На почту мы с ним вместе пошли.

Она поглядела на пустой бокал.

— «Плесни, хозяин добрый, постояльцу! А знаешь, Толя, какой он мне муж, пополам колечко? Однажды я его пожалела, вот всю жизнь и маюсь, не вдовая, не женя... Вернулись после телефонного разговора опять ко мне. И тут Миша со своими откровениями. Слушаю его и чувствую: злость разбирает. Это потом я сообразила, в чем дело. Миша, говорю ему, давай без аллегорий — открытым текстом! Чего ты хочешь? Баба тебе нужна?.. Надо было видеть его лицо! Я подумала, что он побьет меня. Может, мой жалкий вид его удержал. Представляю, как я выглядела. «Эх, ты!», — всего и сказал он. И ушел.

Она потянулась за коробком, в нем не оказалось спичек. Я вышел на кухню, а когда вернулся, Лариса полулежала на диване.

— Ты не возражаешь? Устала я что-то. Да. А знаешь что, — оживилась она, — подвигай-ка сюда столик и сам рядом садись. Да не бойся, не бойся, на твою целомудренность не стану посягать.

— А что, Толя, ты не сказал Надежде про свой портрет? — неожиданно спросила она. Я знал, что заговорим об этом, но к ответу все равно не был готов.

— А почему ты сама не сказала? Да и вообще зачем ты решила увековечить мою особу? Собиралась же Мишин портрет рисовать.

— Я в самом деле дура, Толя. — Маленьkim комочком она лежала, поджав ноги, укрытая пледом. — Я-то знаю, почему молчала. Надежда женщина. А они, в отличие от вас, мужиков, кое в чем умеют разбираться с проницательностью рентгеновских лучей. Особенно если это касается их собственных мужей. Ты не заметил, конечно, что я в последнее время у вас бываю реже?

Я и вправду не заметил, но Ларискины слова натолкнули меня на какую-то догадку. А она все говорила.

— Не поверишь, наверное, но, направляясь к вам, я почти была убеждена, что не застану дома Надежды. Мне, конечно, хочется ее видеть,— поправилась она,— трудно даже сказать, кем она для меня стала: и сестра, и мать, и друг... Но дуры мы, бабы. Так уж устроены.— Лариса села, сбросила плед с плеч.— К ужасу своему я, кажется, люблю тебя, Толечка, ох люблю... и давно.— Она положила мне на плечо свою легонькую руку. А я замер, я не знал, как же мне теперь быть. Она ж торопливо заговорила: — Я ничего от тебя не требую! Ради бога. Ты можешь обо мне что угодно думать. Пожалуй, я того заслужила. Но что же я с собой поделаю, если я ревную тебя к твоей собственной жене?

Она прижалась к моему плечу. И я понял, почему я не сказал жене про портрет. Тогда я не мог в этом разобраться, однако почувствовал в нем нечто большее, чем просто живопись. Не то это была жалость, не то радость, не то жалоба — разобрать я не мог, но то, что не равнодушная, а растревоженная рука накладывала краски на холст, было очевидно...

Я чувствовал, как знобко в дрожи билось возле меня маленькое существо. И руки, мои сильные руки, не знающие усталости, когда я ими кидаю в лаве уголь, в смятении отяжелели и обмякли.

А Лариса говорила, говорила. Голос притих, словно не доверяя окружающей нас тишине или боясь, что слова останутся среди вещей в комнате до того момента, когда они станут чужими и, может быть, враждебными, она почти шептала мне:

— Я злилась на себя, мне было неловко перед Надеждой. Но после того, как я почувствовала совершенно определенно однажды злорадство, когда поняла, что у вас в доме размолвка, я испугалась себя. Но это было вначале, а потом я обрадовалась. Нет-нет, ты не думай, не вашей ссоре, тем более, что я знаю, они у вас, как дождик зимой — ненастоящие, редкие и забывные. За себя обрадова-

лась, что выпала мне на долю, хоть и такая, но любовь.

И все бы обошлось! Все, все.— Ее дрожь прекратилась, но в словах теперь сквозь шепот будто бы послышался всхлип.— Если бы не Михаил. Он этим своим предложением убил меня. Знаешь, когда впервые я узнала, что у меня будет ребенок и что я жена (меня к этому не приглашали и под венец никто не звал), я не так расстраивалась. Просто я пришла к нему на квартиру и оставалась там до тех пор, пока хватило сил, терпения... Не нужно тебе об этом знать.

И вдруг на тебе! Добрый, хороший человек, но которого я совершенно не люблю и никогда не полюблю, человек, страшно далекий от меня, человек, над которым я просто шутила,— он хочет назвать меня женой, в то время как другой, за которым можно куда угодно пойти, никогда не произнесет таких слов и не должен был даже об этом думать!

Я ведь и шла к вам посоветоваться, что же мне с Мишней делать. А сама надеялась, что не застану Надю дома. Милый ты мой, ну зачем я такая дура! — она как-то неловко приподнялась и обхватила меня за шею.

Непроизвольно, подчиняясь ответному порыву жалости и еще больше благодарственной сумятице в душе, я повернулся к ней. И на какое-то мгновение мои ладони ощутили непривычную шелковистость ее волос. А следующее, еще менее уловимое мгновение резко и жестоко отстранило меня от нее. Она плакала или смеялась, в шепоте было не разобрать.

...Резкий толчок, клеть остановилась. Секунды полета отсчитались, и мы на месте. Земля там, над нами. Около стволовой двор полон возвращающимися на-гора шахтерами. И сразу же вижу высокую фигуру Бати. Он не торопится садиться в клеть, ждет нас.

— Степан Гаврилович,— стал я выговаривать ему,— мы же договорились: будем вместе опробовать наш «велосипед», зачем же в ночную пошел.

— Да понимаешь, шланги надо было посмотреть. И еще вот что мне в голову пришло: надо обязательно выделить специального человека для выпаливания колчедана. И чтобы он ничем больше не занимался. Выпаливание — это его дело, и все! Чтоб у него сверла, шланги, коронки, штанга — все было всегда под рукой, и это должно быть его единственной обязанностью. Поглядишь, сколько времени сэкономится. Порядок будет? Будет. Искать и бегать не придется? Не придется! А это все — время. Я тебе говорю, надо подумать. Ты с начальником посоветуйся.

— Чего же я! Ты сам и обскажи — идея твоя! Чего это я буду чужой хлеб отбивать.

Батя, пропустив мимо ушей мои слова, спросил:

— С тобой еще начальник не говорил?

— А о чем?

— Значит, не говорил. Ну, завтра скажет, все равно. Вот что, друг Токарев, есть такое мнение — назначить тебя механиком участка. С главным уже обговорено, в парткоме тоже. Ну тебя, видно, пока не трогали, чтобы настроение перед испытанием «велосипеда» не сбить. Да ты за него не беспокойся. Я мельком, правда, взглянул, все нормально. Лава настроена так, что сразу начнете по добыче работать.

Я не понимал ничего. Не само назначение меня удивило. К этому я все равно должен был когда-нибудь идти. Но не на место же Бати?

— Ты о чем, Степан Гаврилович?

— Темнота, не понимаешь? — влез в разговор стоящий рядом Мишка. — Будешь теперь у нас механиком, а ты куда, Батя? — от растерянности назвал так механика Мишка прямо в глаза, — Степан Гаврилович, — поправился он, — куда ты денешься? Не угодил чем начальству?

— Меня в отдел главного забирают. — Он стал гладить рукой краснеющий даже сквозь угольную пыль широкий щрам на щеке. — Токарев, думаю, не подведет. Не подве-

дешь, «велосипедист»? Постойте-ка, ребята.—Батя полез в карман спецовки.

— Нате вам на счастье,— он протянул нам с Мишкой по обломленному комбайновому зубку.— Раньше подковы дарили, ну это кому на коне скакать, а вам на комбайн под землей ехать да ехать. Так для счастливой дороги! Это, Михаил, с твоего концертного выступления. Помнишь? Ну вот тогда я их сунул в карман. Так просто. А видишь, и сгодились.

Сверху опять пришла клеть. Среди вновь прибывших были и наши остальные ребята.

— Я поехал! — заторопился Батя. Он похлопал меня по плечу.— Принимай дела, механик, подставляй свои плечи, они у тебя крепкие. Завтра увидимся.

...Электровоз мчит по длинному штреку наш поезд из маленьких вагончиков. Мне еще приходят в голову Ларискины слова:

— Спасибо тебе, милый, за все! — И неожиданно ясно я осознаю истинный смысл этих слов. Утром же я их воспринял чуть ли не как насмешку, издевательство, как намек на мою трусость, нерешительность.

Глупо! Это же были слова прощения отвергнутой женщины, прощения за слезы, за одинокую ночь, за любовь к другой.

Еще, как я сейчас понимаю, это были слова прощания и слова благодарности за то, что оба мы нашли в себе силы избежать мелкой и липкой лжи. «Спасибо и тебе!» — подумал я о Ларисе. Наш вагончик качнуло на разминовке. Но мы сидим, плотно прижавшись друг к другу. В кулаке у меня Батин подарок. И оттого ли, что наконец пришла ко мне необходимость действия, я чувствую, как привычная деловая сосредоточенность овладевает мною.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

*A. Волошин.* Поиск и снова поиск . . . . . 3

### РАССКАЗЫ

Рябина у крыльца . . . . .	7
Толкуновы . . . . .	33
«А вот послушай, что скажу...» . . . . .	39
Черный Амзас . . . . .	53
Папоротник . . . . .	64
Соседи . . . . .	72
«Айда, папа, айда!» . . . . .	81
У «Доброго пути» . . . . .	89

### ПОВЕСТЬ

Утренняя смена . . . . .	103
--------------------------	-----

---

ИБ № 285

*Владимир Андреевич Коньков*

**УТРЕННЯЯ СМЕНА**

**Рассказы. Повесть**

Редактор *Т. И. Махалова*. Художник *M. Дю*. Художественный ре-  
дактор *A. С. Ротовский*. Технический редактор *Г. В. Адова*. Коррек-  
тор *Г. В. Ильинская*.

Сдано в набор 8.IX.1978. Подписано к печати 14.II. 1979 г. Формат 70×108 $\frac{1}{32}$ .  
Печать высокая. Гарнитура академическая. Бумага типографская № 3. Усл.-  
печ. л. 6,65. Уч.-изд. л. 7,11. Тираж 15000. ОП00274. Заказ 13836. Цена 45 коп.  
Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Полиграфком-  
бинат. Кемерово, Ноградская, 5.

Книга должна быть возвращена не позже  
указанного здесь срока

**45 коп.**